

А. МИРОНОВ

1116070



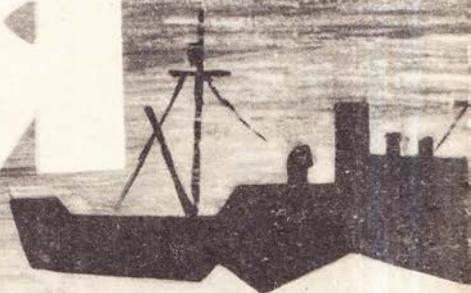
ЛЕДО-



БАЯ

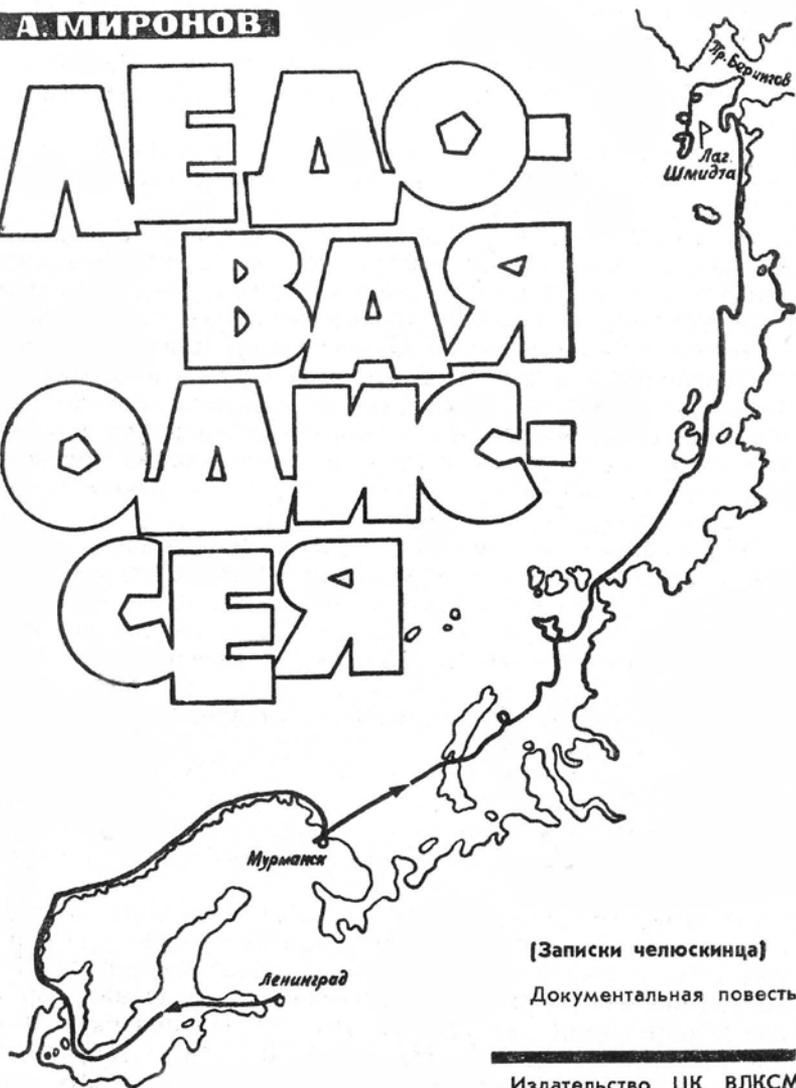
ОДНИ-

СЯ



**А. МИРОНОВ**

# ЛЕДО- ВАЯ ОДИС- СЕЯ



[Записки челюскинца]

Документальная повесть

---

Издательство ЦК ВЛКСМ  
«Молодая гвардия». 1966

**Вам, молодым, влюбленным  
в жизнь, идущим на смену  
старшим.**

**Автор**

## К МОЛОДОМУ ЧИТАТЕЛЮ

В «Детском мире» продавали пластмассовые шпаги, и переживали отцы — «достанутся» ли шпаги их сыновьям. Отцы прекрасно понимали, какая «вещь» — эти шпаги. Настоящий мальчишка — всегда мальчишка, даже если ему далеко за тридцать и есть угроза в недалеком будущем стать дедушкой. Истинного мальчишку всегда тянет «сражаться». В детстве — на шпагах во дворе, в зрелости — с жизнью, с природой. Так из дворовых д'Артаньянов вырастают землепроходцы, мореплаватели, летчики и ученые. Так от детских мечтаний и книг люди приходят к настоящему делу, где каждый сработанный день — это маленький подвиг, а все вместе взятое называется просто и безыскусно «трудовые будни». Так мальчишество вторгается в жизнь.

Но процесс этот обратим, потому что ежедневно и ежедневно жизнь вторгается в мальчишескую страну, и тогда худо приходится маленькому старичку, не мечтателю, рассудительному и примерному пайныке. «Мальчугания» не играет, она живет. И, оправдывая самые невероятные фантазии ребят, взрослые повторяют стандартную фразу: «Дети, знаете ли, необычайно тонко улавливают дух времени».

Тридцать лет назад в детские игры властно вошло заголовками первополосных газетных сообщений — «Арктика». Она принесла с собой дыхание полярного океана, снежно пронзительные пурги и многоцветность северного сияния.

Мальчишки играли сначала в челюскинцев, потом — в папанинцев, потом — в чкаловцев.

Сейчас мальчишки играют в космос. Другие времена — другой настрой. Но давайте чуть пристальней посмотрим в то дивное и суровое, что разбредило мальчишеские души тридцать с лишним лет назад.

Об Арктике написано и много и мало. Нансен, Амундсен, Пири, Седов — великолепное созвездие имен, история и гордость края вечных льдов и снежной королевы. Об их экспе-

дициях написано немало книг, интересных и своеобразных. Но они сейчас стали библиографической редкостью. Это книги о мужестве и стойкости, дерзости и отваге одиночек, осмелившихся на вторжение в безжизненный край, рискнувших пожертвовать своей жизнью, чтобы разгадать тайну Арктики.

Тридцать лет назад завоевание Арктики вступило в качественно новую фазу. Никогда еще край вечных льдов не подвергался такому массированному и планомерному штурму экспедиций. Люди взяли на вооружение новейшие достижения техники. И если раньше успех экспедиции зависел от упорства и одержимости одиночек, то теперь сотни людей работали на этот штурм, готовили его. Крохотные зимовки, разбросанные по всему побережью Ледовитого океана, «варили» прогноз погоды. Сотни заводов и фабрик выполняли заказы для экспедиций. Лучших специалистов направляли научные учреждения и институты в распоряжение Главсевморпути.

Сейчас на карте Севера нет «белых пятен». Этот край обжит и освоен, но за краткими названиями проливов и островов, за привычными именами архипелагов и бухт встает суровая и многотрудная жизнь сотен людей, история этого края.

В 34-м году в жизнь нашей страны вошло тревожное слово «Челюскин». Радио Москвы начинало передачи последних известий с информации о ледовом лагере. Мальчишки играли в челюскинцев. В каждом дворе были свои Шмидты и капитаны Воронины. Для жителей Одессы, Ялты и других южных городов стал понятен смысл безжалостных слов «сжатие», «торошение». Радиолюбители, пробиваясь через хаос эфира, старались поймать радиogramмы, переданные характерным кренкелевским почерком.

В доках спешно заканчивался ремонт ледоколов. И уже грузили на пароход в одном из портов Приморья аэропланы, на которых предстояло снять со льдины людей.

Потом авиационный бросок через Чукотку на самолетах, снабженных лишь одним навигационным прибором — компасом. В те дни в Москве и Архангельске, Фергане и Свердловске люди с тревогой слушали прогноз погоды — летная или нет?

Два месяца спустя страна встречала челюскинцев. И пер-

вым семи авиаторам, пробившимся в сердце Арктики сквозь пургу, туманы и мороз, страна присвоила звание Героя Советского Союза.

О челюскинской эпопее выпущен двухтомник — отличная книга, авторами которой являются все участники ледовой экспедиции.

И вот теперь лежит на письменном столе книга, которая возвращает нас в удивительно романтическое и суровое время. Даже человек, хорошо знающий историю освоения Арктики, прочтя эту книгу, сделает для себя немало открытий. Ведь книга Миронова — это не просто воспоминания участника знаменитого похода. Это скорее скрупулезный журналистский репортаж, способный донести до нас необычайно ярко образы людей, рассказать об их делах и поступках в столь суровых и жестких условиях. На первый взгляд покажется, что книга написана сдержанно и сухо. Но чем дальше читаешь документальную повесть, тем все сильнее захватывает она тебя. Сила этой книги в ее точности, в ней нет ни слова фальши. Она словно подробная лоция, способная ответить на любой вопрос, могущая служить при «плавании по морю истории челюскинской экспедиции». И тут уместно будет вспомнить, что хоть язык любой лоции всегда сдержан, она — лоция — книга, бесспорно, необходима.

Необходимая потому, что прошло уже со времени челюскинской эпопеи тридцать с лишним лет. И те, кто когда-то играл в челюскинцев, уже обживают более суровый край, чем Арктика. И если в детстве они мечтали увидеть над головой полярную звезду, то теперь им светит в пути «полярный крест» — три большие яркие звезды и две поменьше. И сам интерес к Арктике, которая считается страной обжитой, уже не тот. Хотя край этот и сейчас дарит любому исследователю немало удивительного и неожиданного.

Но главное — это романтика. Та самая романтика, о которой мы столько думаем, пишем и говорим. Романтика исследователя, романтика первопроходца, без которой немислима жизнь по большому счету. Именно история, именно такие вот книги могут и, несомненно, тронут самые сокровенные струны мальчишеских сердец. Книгами, подобной этой, мы поможем открыть сегодняшним мальчишкам их завтрашнюю страну, пробудить в них жажду «сражаться» с природой, проверить себя. И они, с восторгом рассматривающие средневековые

доспехи рыцарей в залах Эрмитажа, после этой книги обязательно придут в небольшой и малоизвестный Музей Арктики и Антарктиды в Ленинграде и замрут в восхищении перед доспехами рыцаря XX века — покорителя и исследователя льдов.

Сегодняшние мальчишки играют в мушкетеров и космонавтов. Сегодняшние мальчишки бредят полетами на Сатурн, Венеру, «в крайнем случае на Марс». Это, несомненно, здорово. Но пусть все же не забывают мальчишки, что 12 апреля 1961 года на космодроме в Байконуре первого космонавта Юрия Гагарина провожал до ракеты его наставник, его учитель — человек, имя которого тесно связано с челюскинской эпопеей: Герой Советского Союза, ас нашей авиации Николай Петрович Каманин. Только такой человек, прошедший Арктику, победивший ее, мог быть наставником покорителя вселенной. Арктические параллели обязательно пересекают космические меридианы нашей жизни.

**Виль Дорофеев**

## Дороги юности

Вторая половина двадцатых и начало тридцатых годов — яркими, взлетными были они для нас, тогда молодых!

Только что закончилось преобразование сельского хозяйства страны и слово «колхоз» стало обычным, общенародным. Газетные статьи звали парней и девчат на Магнитку, на ХТЗ, на ДнепрогЭС и на строительство города юности — Комсомольска-на-Амуре. В городах закрылись биржи труда: нигде не осталось ни одного безработного. Зато повсеместно открывались новые и новые высшие и средние учебные заведения: стране были срочно нужны тысячи техников, инженеров и агрономов.

Страна прочно становилась на ноги.

Мы, восемнадцати-двадцатилетние, думали теперь не о том, где бы и какую работу найти. Мы могли выбирать, куда пойти, чтобы работа была по душе.

Но разве юность живет одной только работой? Юность всегда и навечно — романтика, поиски новых, еще никем не открытых путей. Она зовет нас туда, где трудно, где сама жизнь нуждается в нашем упорстве и нерастрченных силах. И, подчиняясь этому зову, каждый из нас выбирает свою, одну-единственную дорогу, чтобы шагать по ней без оглядки до конца....

Сын белорусского железнодорожника, в роду у которого никогда не бывало ни одного моряка, я с самого детства мечтал о бескрайних океанских дорогах. В девятнадцать неполных лет я распрощался с родным Минском и через двое суток уже шагал по бревенчатым мостовым Архангельска, столицы пильщиков звонкого северного леса, продубленных ветрами всех широт мореходов и немногословных, не улыбочивых полярников, быть может только вчера вернувшихся в многолюдный город со льда. Я шагал прямо к порту, сгорая от нетерпения скорее увидеть взлелеянные в мечтах корабли.

Нет, я не ошибся, сразу по окончании средней школы ринувшись за тысячи верст, в невиданную, незнакомую жизнь. Здесь все было необыкновенно и прекрасно: и прошлое, и настоящее, и, конечно же, будущее. Прошлое — леген-

дарный «Святой Фока» Георгия Седова, доживавший свой век на приколе у одного из причалов матросской слободки Соломбалы. Настоящее — знаменитые походы «Ленина», «Ермака», «Красина», «Малыгина» и других ледоколов в малоизведанную Арктику. А будущее... Я верил, я наверняка знал, что в нем найдется место и для меня!

Оно нашлось, это место, хотя сначала вместо могучего судна была маленькая парусно-моторная шхуна «Белуха», вместо романтики дальних морских скитаний — тяжелый матросский труд. Но, может быть, это к лучшему? Ведь на таких, как «Белуха», суденышках и плавают настоящие мореходы, способные воспитать Человека из неоперившегося, восторженного и беспомощного юнца...

...Один за другим уходили из Архангельска в заморские дали груженые «северным золотом» — экспортной древесиной — сухогрузные пароходы... На картах Арктики появлялось с каждым днем все больше алых флажков — это вступали в строй новые полярные научно-исследовательские станции и зимовки... В высокие северные широты уходили на ледоколах все новые экспедиции...

И только меня — казалось, меня одного — не брали ни на сухогрузы, ни на зимовки, ни на ледоколы. Неужели и впредь не найдется места нигде, кроме нашей «Белухи»? Неужели не месяцы, а годы и годы суждено мне болтаться на этой шхунешке с волны на волну, от становища до становища, по серо-свинцовому Беломорью?

Иной раз ловил себя на горькой мысли: «Не бросить ли все к чертям, не вернуться ли в Минск? Ведь можно и там найти работу, да еще и поспокойнее, полегче...» Может, и бросил бы и списался б на берег, но — нет, не смог изменить мечте, а вернее, товарищи не позволили расстаться с морем. И когда следующей осенью послали меня, наконец, матросом первого класса на пароход дальнего плавания, я не раз с благодарностью вспоминал о друзьях-белушанах, которые суровой своей лаской, а то и совсем неласковым словом, но всегда вовремя поддерживали мятущегося паренька в самом начале избранного им пути...

Вернулся в Архангельск спустя без малого год, а тут новость: в Арктику отправился ледокольный пароход «Сибиряков», чтобы в течение одной навигации пройти с запада на восток по всему Северному морскому пути. Екнуло сердце:

«Эх, мне бы! Такое не удавалось до сих пор ни одному кораблю!»

Забрался в городскую библиотеку, зарылся в книги: швед Норденшельд шел с запада на восток два долгих года, норвежец Амундсен — целых три, наш русский гидрограф Вилькицкий с востока на запад — тоже два, потеряв в борьбе со льдами один из своих двух ледоколов — «Вайгач». Пройдет ли «Сибиряков», не зазимует ли и он? А если зазимует, так не быстрее и не выгоднее ли ходить из Мурманска во Владивосток не Северным, а Южным морским путем — вокруг Европы и Африки, огибая всю Южную Азию: хоть и в три раза дольше, зато без задержек, наверняка?!

...В тот вечер я допоздна засиделся в штурманской рубке на нашем судне. Как заправский капитан перед дальним морским походом, прикидывал на картах, подсчитывал оба пути: и Северный и Южный. Получалось удивительное, убийственное несоответствие. Если плыть, предположим, Южным, придется топать и топать целых три месяца вдоль берегов Норвегии, Дании, Голландии, Бельгии, справа по борту оставить Англию, потом — мимо Франции, Португалии, Испании. За ними — Средиземное море, через Суэцкий канал — в Красное; наконец в Индийский, в Тихий океаны — так, чтобы Индия, Китай и почти вся Япония оставались слева по борту. И только тогда, наконец, я доберусь до нашего Владивостока.

А если Северным? Баренцево море, Карское, Лаптевых, Восточно-Сибирское, Чукотское, там через пролив в Берингово море, и все: дома!

Так вот, значит, почему пошел «Сибиряков» Великим Северным морским путем! Вот почему мечтают о его открытии уже четыре с лишним столетия чуть ли не все мореплаватели Европы! А прошли только трое: Норденшельд, Амундсен и Вилькицкий — не за месяц, даже не за три, как надо идти Южным, а за два и за три года, с тяжелыми и изнурительными зимовками в арктических льдах. Кому же он нужен, такой, с позволения сказать, Северный морской путь, где бабушка надвое гадала — дойдешь ли до цели, или, подобно «Вайгачу», прямехоньким курсом отправишься на морское дно...

Но «Сибиряков» все шел и шел: через Карское море, через море Лаптевых, Восточно-Сибирское... Добрался до последне-

го, до Чукотского, и хотя потерял там в борьбе со льдами сначала лопасти гребного винта, потом и весь винт вместе с головкой гребного вала, а все равно под парусами вырвался из ледяного плена на чистую воду в Берингов пролив.

Прошел!

Так Северный морской путь — весь, от начала до конца, впервые в истории мореплавания был пройден всего лишь за одно короткое арктическое лето.

Скептики, правда, пожимали плечами:

— Чему радоваться? Не прошли, а проползли еле-еле, с грехом пополам. Тоже — плавание...

Английские, американские, немецкие газеты выражались определеннее:

— Случайная удача, не больше. А Север как был, так и останется непреодолимым из-за арктических льдов.

И хотя не могли они не восхищаться учеными и моряками во главе с профессором Шмидтом и капитаном Ворониным, преодолевшими непреодолимое, но дальше этого восхищения не заходили прогнозы даже самых испытанных и знаменитых зарубежных исследователей.

Тем временем еще год прошел, и в начале июня следующего, 1933 года меня в числе шестерых моряков-архангелогородцев вызвали в контору незадолго до того созданного Главного управления Северного морского пути.

Принял нас прославившийся своим сибиряковским походом полярный капитан Владимир Иванович Воронин, за плечами у которого уже тогда насчитывалась не одна экспедиция в малоизведанные и вовсе никем не посещавшиеся районы арктических морей. Воронина знали и, несмотря на крутой нрав, по-настоящему любили все моряки-северяне. Очень многих, с кем доводилось плавать на разных кораблях, знал и он, умевший, как ни один другой капитан, ценить людей не за красивые, как говорится, глаза, а за настоящую моряцкую хватку и неистребимую никакими испытаниями влюбленность в море. Поэтому не только штурманов и механиков, но даже матросов и кочегаров в свои экипажи Владимир Иванович, как правило, всегда подбирал сам.

Удивительного в этом не было ничего: кому, как не потомственному мореходу-помору, с раннего детства связавшему свою жизнь с суровыми морями Заполярья, лучше знать, кто годеи, а кто не годеи к службе на этих морях! Недаром Во-

ронин еще десятилетним мальчонкой — «зуйком» — начал ходить на парусной шхуне со своим отцом и старшими братьями на зверобойные промыслы в Белое и Баренцево моря. Не зря и матросом пошел в пятнадцать лет на каботажный купеческий пароход «Николай», перевозивший то богомольцев в «святые места» — на Соловецкие острова, то сельдь и треску из норвежских портов в Архангельск. И только после Великой Октябрьской социалистической революции Владимир Иванович смог стать сначала штурманом дальнего плавания, а потом и капитаном.

Немногословный и замкнутый, как все поморы, Воронин нелегко и непросто сходил с людьми. Даже близкие друзья, даже штурманы, проплававшие с ним не одну навигацию, откровенно побаивались этого могучего, широкоплечего, улыбочивого человека: чуть что не так — распушит, разделает, хоть ты сквозь палубу провалишься! Зато не было на всем Севере капитана справедливее его; и уж если проплавает с ним матрос или первогодок-штурман год-другой — потом парня на любое судно берут с радостью: воронинской выучки человек.

И плавали «воронинские» на многих советских кораблях — на Севере и на Балтике, на Черном море и в Тихом океане. А сам Владимир Иванович никогда не стремился в дальние заморские рейсы, в чужие экзотические широты, предпочитая им всегда трудные, всегда связанные с риском походы в отечественных заполярных морях. Летом — по становищам Мурмана, Новой Земли, к зимовщикам недавно открытой полярной станции на Земле Франца-Иосифа. Зимой — в горло Белого моря на тюлений промысел — «зверобойку». И не только потому, что потомственного помора влекли к себе родные полярные просторы. Знал Воронин, на собственном опыте испытал, воспитанников своих учил, что нет для настоящего моряка лучшей школы, чем суровые северные моря, как нет на свете сильнее мужской дружбы, чем та, которая прошла полярную закалку. А дружбой суровый этот и замкнутый человек дорожил больше всего на свете.

Много славных мореходов дал нашей стране неласковый Север. И среди них, как одного из достойнейших, советский народ называет Владимира Ивановича Воронина. Начиная с 1929 года вместе с профессором Отто Юльевичем Шмидтом он лето за летом пробивался все дальше в глубины

Арктического бассейна, пока, наконец, не прошел вместе с ним из конца в конец Арктики и не покорил Великий Северный морской путь.

«В море — дома, а дома — только в гостях», — гласит моряцкая поговорка, сложенная о таких мореходах, как ледовый капитан Воронин. Поэтому и не мудрено, что на всем Севере не было, пожалуй, судоводителя, который лучше Владимира Ивановича знал бы условия плавания в здешних неизученных широтах, как не было в западном секторе Арктики такого географического пункта, куда он не смог бы или не сумел провести свое судно.

Все это вспомнилось мне в то раннее июньское утро, когда, по повестке Главсевморпути, я чуть не бегом мчался через весь Архангельск, а зачем — и сам еще не знал. Но торопился: не станут же вызывать понапрасну. И очень обрадовался, увидев у подъезда Морской конторы на площади Профсоюзов тоже запыхавшихся и тоже заметно взволнованных приятелей — Валу Паршинского и Мишу Данилкина. Знали мы друг друга давно, хотя они работали кочегарами на ледоколах, а я матросом то на «Белухе», то на судах дальнего плавания. Только ведь и у морей есть перекрестки, и сходятся на них все пути, а наши пути — и того чаще — сходились на комсомольских собраниях в портовом Клубе моряков.

— Тоже сюда? — спросил Данилкин, а Паршинский, пыхнув ароматным дымком «кепстена», усмехнулся:

— Или не видишь? Вспаренный прилетел, как из бани. Пошли.

Но Миша удержал:

— Подождем малость, сейчас остальные подкатят. Вместе сподручнее разговор вести.

Остальные подошли один за другим, тоже наши ребята: Геша Баранов, Вася Громов и Степа Фетин. На груди у Баранова и Громова сверкали совсем еще новенькие ордена Трудового Красного Знамени, год назад полученные за участие в ледовом походе «Сибирякова».

Владимир Иванович поздоровался с нами коротким кивком головы, отрывисто спросил:

— В Арктику пойдете? Со мной, на «Челюскине»?

Мы ничего не знали: ни куда в Арктику, ни на каком «Челюскине». Кажись, на всем Севере и парохода нет с таким названием. А все же ответили разом, как сговорились:

— Идем!

— Добро, — капитан махнул рукой на стулья. — Садитесь пока. — И тоже усевшись в кресло за просторным столом, продолжал, пошевеливая пушистыми каштановыми усами: — Пароход «Челюскин» построен по заказу нашего правительства на датской судостроительной фирме «Бурмистрог-Вайн». Пароход, — он как бы подчеркнул это слово, — а не ледокол, ясно? И должны мы на нем повторить то, что сделали в прошлом году на «Сибирякове». За лето пройти весь Северный морской путь. Настала пора выяснить: могут там пароходы ходить или не могут. Наши моря, понимаете? Наши! А значит, нам на них и хозяйствовать! Вот какое дело, ребята. За тем и вызвал.

Мы слушали, не спуская с Воронина загоревшихся глаз, а он помолчал, как бы взвешивая уже сказанное, и вдруг сердито нахмурил брови:

— Не неволю! Добровольцев зову: из лучших, у кого опыта вдосталь и моряцкой хватки не занимать. Потому как в Арктике всякое бывает... Не в Лондон идем, можем и не вернуться... А боязно — отправляйтесь на пассажирские лайбы, там и в белых перчатках, при галстукке можно в руле стоять! На раздумья — сутки: чтоб завтра в это же время ответ был. Все ясно?

А нам шестерым все и так, без раздумий было яснее ясного. И, не сговариваясь, мы ответили, будто выплеснули:

— Идем!

— Добро, — Воронин кивнул, — помаленьку готовьтесь. Да прежде времени в колокола не трезвоньте: не люблю трескотни, к добру не ведет. Валяйте покуда, как говорится, с богом...

И отпустил, не подав на прощанье руку, — не любил старик рукопожатий.

Медленно шел я домой, обдумывая каждое слово капитана. Северный морской путь. «Челюскин», первый в истории мореплавания пароход, который должен за короткое арктическое лето пройти по всему Великому Северному пути... Первый! И на нем я тоже буду служить матросом! А давно ли завидовал счастливым-сибиряковцам? Давно ли было

отчаяние — неужели не повезло мне и я зря сорвался из Минска, из дому? Как хорошо, как славно, что не ушел с «Белухи», не уехал, не изменил морю: вот когда, наконец, начинается и моя долгожданная дорога!

Воронин приказал молчать, и мы молчали — никому о «Челюскине» ни слова. Ликуя в душе, молчали весь остаток июня и первые десять июльских дней. А 11 июля мы были уже в Ленинграде и ехали с вокзала в морской торговый порт, где возле одного из причалов стоял, возвышаясь черными бортами над пристанью, новенький пароход с белой надписью на носу и на корме: «Челюскин».

Не торопясь, как и положено бывалым мореходам, поднялись мы на палубу, и первым, кого увидели здесь, оказался тоже архангелогородец, боцман-сибиряковец Анатолий Загорский. Он явно обрадовался нам, расспросил, как доехали, и посоветовал:

— Дуй пока отдыхать, хлопчики! Завтра с утра за работу. У меня спросил:

— Встанешь с ноля на ночную вахту?

Я кивнул, и Загорский окликнул пробежавшего мимо широколицего, курносого, плечистого паренька в замасленной робе:

— Эй, Мишук! Познакомься: твой напарник, вместе будете жить. Отведи в каюту.

Хоть и новенький был пароход и построен по специальному заказу, с учетом наибольших удобств для экипажа, а такой уютной, светлой каюты я на нем увидеть не ожидал. Просторная, чистенькая, с двумя пружинными койками одна над другой. Диван, два шкафа-рундука для одежды, небольшой стол с чернильницей и пепельницей. На выбеленной масляной краской переборке над столом — широкое зеркало в коричневой раме, рядом коричневая полка с графином и двумя стаканами и сверкающая начищенной латуной керосиновая лампа на карданной подвеске. Лампа, конечно, на случай, если в далеком арктическом плавании выйдет почему-либо из строя корабельная динамо-машина. А в довершение ко всем этим удобствам — шерстяные, с ткаными узорами темно-зеленые занавески над каждой койкой и шерстяные же теплые серые одеяла.

— Нравится? — спросил меня новый знакомый, с улыбкой наблюдавший за мной, и великодушно предложил мне

лучшее место в каюте: — Занимай верхнюю койку. Тебя как кличут? Меня — Ткач; из Николаева я, с Украины. А ты? — Сейчас из Архангельска, вообще же родом из Минска, белорус.

— Здорово! — Миша рассмеялся. — «Бульбоед» и «хохляра» в одной каюте сошлись! У нас тут кого хочешь найдешь: русские, латыши, поляки, евреи... Шмидт и Кренкель, если ребята, не брешут, будто из обрусевших немцев. А среди ученых, говорят, даже татарин есть. Целый тебе интернационал, верно? — Ткач прислушался, шагнул к двери. — Устраивайся пока, я побегу: вон какая заваруха на погрузке... Захочешь спать — ложись, к ужину разбужу!

Хлопнула дверь, Мишук умчался. Славный, как видно, парень, веселый, открытый. Чуть ли не за минуту со всем экипажем перезнакомил. Жить с ним, пожалуй, будет легко, а в длительном рейсе это важно...

Я принялся разгружать чемодан, раскладывать и развешивать в рундуке одежду. С палубы доносился привычный шум и грохот погрузки: то и дело взывали лебедки, переругивались грузчики; над головой по палубе топали куда-то спешащие матросы. Захотелось взглянуть на всю эту знакомую, но всегда волнующую суету, и, задвинув опустевший чемодан под нижнюю койку, я отправился наверх. Вышел я, да так и застыл у поручней, залюбовавшись слаженным ритмом работы, непонятым и суматошным для тех, кто не знает моря.

Подхваченные лебедками, стропы с ящиками и тюками экспедиционного груза плавно опускались в корабельные трюмы, где стивидоры-грузчики плотно и ловко слой за слоем укладывали весь его от борта до борта. На пристань один за другим въезжали грузовые автомобили с новой поклажей. К левому борту парохода приткнулись низко сидящие в воде баржи, и с них портовые рабочие тоже перегружали кладь.

Командовал всем этим молодой, чернобровый и давно не брившийся парень в сером от пыли берете, с блокнотом в одной и карандашом в другой руке.

— Кто это? — спросил я у проходившего мимо Ткача.

— Земляк твой, тоже из Белоруссии, — ответил Мишук. — Завхоз экспедиции Борис Могилевич: всю, брат, погрузку вот так завихает. Днем и ночью которые уже сутки без сна.

Мой земляк. Вот ведь мир до чего тесен: двое белорусских хлопцев встретились на одном судне!

Дождавшись перекура, я подошел к завхозу, поздоровался.

— Добры дзень, землячок. Як жывеш, як маешся?

— А нічога, памалу, — откликнулся он, сверкнув удивительно черными глазами. — Ты откуда?

— Из Минска. А ты?

— Из Брагина, только уже давно. В команду или в экспедиционный состав?

— Матросом первого класса.

Но поговорить не удалось: перекур окончился, и Могилевич ушел. Он и ночью, во время моей вахты, продолжал «завихаться», когда вся команда ушла отдыхать, и только Борис шагал и шагал от трюма к трюму, отмечая в блокноте каждый ящик и каждый тук груза. Лишь к утру наступила тишина, пронизанная розовым светом зари: замолкли лебедки, уехали грузовики, ушли грузчики. А возле распахнутого, по самый люк набитого снаряжением трюма, растянувшись на кипе войлока, сладко уснул завхоз, окончательно выбившийся из сил. С лица его постепенно сошло выражение озабоченности, но даже во сне блокнот с бесконечными столбиками цифр был крепко зажат в руке Бориса.

Я не стал его будить и, стараясь топтать потише по железному настилу палубы, прошел на полубак, отбил четыре склянки, а потом на полуяте поднял на флагштоке яркий, как утреннее солнце, флаг:

«Здравствуй, новый трудовой день!»

Вернулся на спардек — и замер, даже руки по швам вытянул, увидев Отто Юльевича Шмидта.

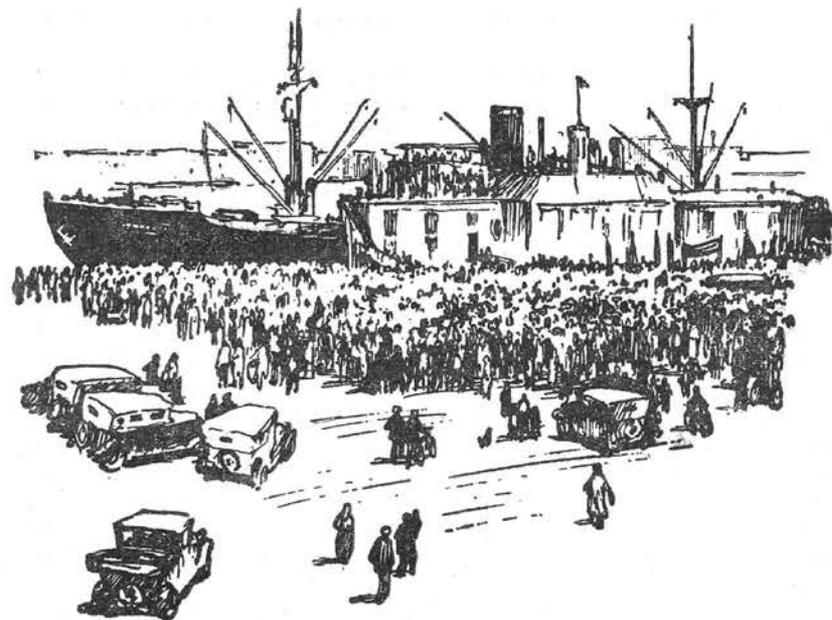
Он шел прямо на меня, не глядя по сторонам, опустив голову с густой и длинной черной бородой — высокий, худой, чуть-чуть сутуловатый, в черном, почти до колен, пиджаке и в кепке с большим козырьком. Матово-бледное лицо профессора с глубокой складкой меж бровей показалось таким озабоченным, что я едва не подался назад, чтобы не мешать ему. Но Шмидт уже поднял голову с удивительно серыми, зеленоватого отлива глазами, и в этих глазах я почувствовал живой интерес, уловил улыбку.

— Здравствуйте, Отто Юльевич...

— Доброе утро. — Профессор остановился. — Новенький?

— Вчера из Архангельска... С капитаном Ворониным...

— Как же, знаю. Владимир Иванович обо всех расска-



зывает. Матрос Миронов. А я ведь тоже из ваших краев: могилевчанин. Впервые в Арктику?

— Первый раз.

— Ну что же, у вас еще все впереди...

И вдруг, оборвав разговор на полуслове, опять заложил за спину бледные руки с толстыми пальцами и ровным, неторопливым шагом направился вдоль спардека.

Впоследствии, в течение многих месяцев, мы каждое утро видели начальника экспедиции на таких прогулках. И часто казалось со стороны, что в эти минуты он мысленно находился далеко от судна и от всех экспедиционных дел: то хмурился, перебирая хрупкими пальцами густую кипень чуть тронутой проседью бороды, то улыбался каким-то своим мыслям... В такие минуты ребята старались ему не мешать.

...Но вот, наконец, и последний день стоянки «Челюскина» в Ленинградском порту. Вскоре после полудня хлопотливые портовые буксиры перетащили судно к Набережной лейтенанта Шмидта, а ближе к вечеру всю ее заполнили горожа-

не. С оркестрами, с песнями, со знаменами, словно на торжественный праздник, шли и шли ленинградцы.

На средней палубе заканчивались приготовления к прощальному митингу. Перед микрофоном собрались Отто Юльевич Шмидт, Владимир Иванович Воронин, заместители начальника экспедиции Бобров, Копусов, Баевский, представители партийных и общественных организаций заводов и фабрик города Ленина. Тепло и торжественно звучали напутственные слова провожающих. Вволнованно и сердечно отвечал им Шмидт:

— Куда бы ни забросила нас судьба, мы всегда будем помнить о вас, дорогие друзья. Верьте мне, верьте всем нам: мы сделаем все, чтобы вернуться с победой!

Митинг закончился, когда белая летняя ночь окутала город мерцающим светом. Салютуя колыбели Великого Октября, трижды пропела сирена «Челюскина», и в ответ на трубный голос ее наперебой заревели гудки стоявших в порту кораблей.

Вот и трап убран... И отданы швартовые концы... Между бортом судна и гранитной стенкой набережной ширится полоса невской воды...

Что же представлял собой наш корабль? Чье имя присвоили ему в день рождения на датской судовой верфи?

...В середине XVIII века на Крайнем Севере России долгое время работала исследовательская Великая северная экспедиция, состоявшая из нескольких морских и сухопутных отрядов. Одним из них командовал отважный моряк лейтенант Семен Челюскин. Вместе со своим отрядом он совершил немало трудных походов по неисследованным, безлюдным пустыням Таймырского полуострова, а 30 мая 1742 года открыл и описал самую северную оконечность Евразийского материка, с тех пор носящую имя русского героя-землепроходца: мыс Челюскин в проливе Вилькицкого, отделяющем материк от архипелага Северная Земля.

В годы первой мировой войны имя Семена Ивановича Челюскина было присвоено большому грузовому пароходу, но просуществовал этот корабль недолго. Грузенный взрывчаткой, он благополучно дошел из Лондона до Архангельского порта и тут был взорван кайзеровскими диверсантами, пробравшимися в Россию. Чудовищный этот взрыв и поныне помнят архангелогородские старожилы: он разрушил чуть

ли не третью часть города на берегах полноводной Северной Двины.

А теперь это же имя получил и наш экспедиционный пароход, приписанный к Владивостокскому порту. Длинной в 100 метров, шириной в 16,6 метра и грузоподъемностью в 4700 тонн, «Челюскин» мог развивать скорость хода до 11—12 миль в час, а для экспедиционного судна лучших технических данных не требовалось. Но каковым все это окажется на деле?

Вот это-то нам и предстояло выяснить прежде всего.

Вскоре после прощания с Ленинградом вокруг корабля уже простиралось неоглядное синее-синее море. Лишь с правого борта, далеко у черты горизонта, зеленели финские берега. Навстречу изредка попадались идущие в Ленинградский порт тяжелые транспорты под иностранными флагами. Мы обменивались с ними традиционными морскими приветствиями и продолжали следовать своим курсом, для испытания корабля то замедляя ход до самого малого, то увеличивая до форсированного, то вдруг мгновенно отработывая самый полный назад. «Челюскин» вел себя безупречно, отлично работали и все его механизмы.

На рассвете 20 июля мы вошли в первый порт на нашем арктическом пути — в столицу Дании Копенгаген. Здесь был построен «Челюскин», и короткую стоянку в порту решено было использовать для исправления некоторых неполадок, обнаруженных на переходе в машинном отделении судна.

Никто из нас не предполагал, что едва начавшаяся экспедиция, повторявшая прошлогодний подвиг «Сибирякова», успела привлечь внимание к себе не только в Советском Союзе, но и за границей. Иностранные корреспонденты буквально атаковали Шмидта и Воронина в Копенгагенском порту, выпрашивая у них подробности сибиряковского и перспективы челюскинского походов. На пристани круглые сутки толпились сотни датчан, жаждавших познакомиться с советскими моряками и полярниками и непременно получить у них автографы на память. Не только штурманам, но и нам, матросам, пришлось на время превратиться в добровольных гидов и одну за другой водить экскурсии копенгагенцев по всему кораблю. И что было особенно отраднo — не пустое любопытство, а искренняя, горячая заинтересован-

ность датчан во всем, имевшем отношение к малознакомому им Советскому Союзу, вела их на борт нашего корабля.

Гости хотели видеть все: как мы работаем, что едим, где спим, как отдыхаем. Они ходили по корабельным коридорам, заглядывали в кают-компанию, в столовую команды, в жилые каюты. Ощупывали упругие матрасы на койках, разглядывали множество книг в застекленных шкафах и недоверчиво улыбались, когда мы говорили, что пользуемся всеми этими удобствами и благами совершенно бесплатно.

— Даже постельным бельем? — настойчиво допытывался один из гостей, пожилой датчанин с выгоревшими от солнца бровями и ресницами. — Вот этими наволочками, простынями, полотенцами? Может быть, и посуда в столовой тоже бесплатно? Разбил, например, тарелку, и ничего особенного, платить не надо?

— А как же иначе? — не мог я понять, чего он добивается.

— Не знаю, не знаю... Приходя на новое судно, я обязан принести с собой подушку, одеяло, тарелку, кружку, ложку и нож... Не принесу — спи на голых досках, ешь пальцами: кому до тебя какое дело... Странные у вас порядки, очень странные...

Я так до конца и не понял, доволен этими «странными порядками» гость или они ему не по душе.

Зато все было и понятно и по-человечески тепло на вечере дружбы, куда нас пригласили копенгагенские комсомольцы. В просторном полуподвальном помещении, убранном красными флагами, портретами Ленина, Маркса, Энгельса, Тельмана, украшенном гирляндами пестрых, как наши елочные, флажков, собрались девчата и парни. Казалось, не зная датского языка, мы будем чувствовать себя среди них стесненно. Но ничего подобного, было очень непринужденно и шумно, а веселье продолжалось до поздней ночи: танцевали, пели и датские и наши, русские, песни, удивительно легко понимали друг друга, а потом до восхода солнца бродили по улицам и многочисленным паркам датской столицы. И расстались мы, твердо зная, что не забудем эту дружескую встречу никогда.

Шесть суток стоянки в Копенгагене пролетели незаметно, а там опять море: пролив Скагеррак, за ним — узкие, извилистые протоки южных норвежских шхер, голубыми реками

прорезающих коричнево-зеленые громады суровых гор. Мимо судна, словно кадры видового кинофильма, проплывали величественные, молчаливые берега — пестрые горы одна за другой, голубое небо над ними; лениво плыли редкие облака. А в проливе отражениями этих облаков качались пароходики, парусники и белокрылые рыбацкие лодки.

На берегу, у подножия гор, лежали небольшие селения. Над черепичными крышами их дымили трубы маслобойных и консервных заводиков. Все было так мирно, так красиво и по-житейски уютно, что казалось, красоте этой никогда не наступит конец.

Но так ли это? Не обманчивы ли, как в андерсеновской сказке, и эта тишина, и кажущийся извечным, навсегда устоявшимся покой?

Вот опять за поворотом, с левого борта, открылась небольшая и красивая, как на старых олеографиях, бухта. В ней, точно на смотре, плотными рядами один к одному выстроились грузовые пароходы. Порт? Нет, не похоже: ни из одной корабельной трубы не вьется дым, даже вблизи не слышно знакомого грохота лебедек. Забастовка? Тоже нет: на палубах не видно ни одного человека. А между тем я насчитал пятнадцать кораблей. Пятнадцать, и все на мертвом приколе. Почему?

Спрашиваю об этом у сухопарого, краснолицего лоцмана-норвежца с трубкой в зубах и слышу лаконичный и деланно-бесстрастный ответ:

— Кризис. Нет фрахта.

Впрочем, он мог бы и не отвечать, этот немолодой человек с откровенной горечью в выцветших глазах. Я знаю цену этой горечи. Я видел такое не раз — в Германии, в Голландии, в Англии: флот поражен кризисом, нет работы, неизвестно, будет ли она через месяц, через год...

Потому и отворачивается от меня лоцман. И я молчу, лишь крепче сжимаю рукоятки чуткого к малейшему нажиму штурвала. А «Челюскин» бежит и бежит...

Южные шхеры, северные норвежские, а там и Полярный круг — все осталось позади. Светлее, солнечнее становятся ночи. Все заметнее холодеют воздух и забортная вода. Ледовое Заполярье совсем рядом.

1 августа в 0 часов 20 минут «Челюскин» отдал якорь на Мурманском рейде. Была белая, туманом насыщенная ночь, пронизанная приветственным ревом корабельных гудков. Светло и радостно было у нас на душе: первый этап гигантского трансарктического перехода позади!

За время рейса от Ленинграда до Мурманска мы ближе узнали друг друга, успели подружиться с ребятами, кто вместе с нами, архангелогородцами, пришел на корабль из других городов и портов страны. Трое из них сразу пришлось не по душе капитану Воронину: один груб, заносчив, слова ему поперек не скажи; другой так и норовит «сачкануть» от работы, а на замечание штурмана и огрызнуться и бранью ответить может; третий до того «нагрузился» в копенгагенском кабаке, что до судна не смог добраться на своих двоих... Владимир Иванович немедленно списал всю троицу с парохода: балласт в экспедиции — помеха общему делу.

Вместо этих «героев» пришли славные ребята — комсомольцы с ледоколов «Красин» и «Малыгин», рекомендованные экипажами этих кораблей, и отныне команда «Челюскина» была укомплектована окончательно.

Начало прибывать и пополнение экспедиционного состава. Первыми явились строители — колхозники с Ярославщины и Костромы, никогда раньше в глаза не видавшие моря. Все у нас было для них в диковинку, ко всему приходилось привыкать. Потом веселой, дружной семьей прибыли из Москвы молодые полярники, которых «Челюскину» предстояло доставить на зимовку в восточный сектор Арктики, на остров Врангеля. Последними поднялись на борт известный полярный летчик Михаил Сергеевич Бабушкин и бортмеханик Жора Валавин. Следом за ними лебедки подняли маленький самолет-амфибию Ш-2.

Все дни и ночи десятисуточной стоянки в столице советского Заполярья, как в Ленинграде и в Копенгагене, на пароходе ни на час не замирала хлопотливая предтоходная суета. Опять грузили продукты и экспедиционное снаряжение. На носовой палубе строили из досок стойла для коров и свиней. Механики и машинисты еще и еще раз придиричиво, до мелочей, проверяли судовые механизмы. И посеревший, осунувшийся от тревог и забот завхоз Борис Могилевич, проклиная «вселенский хай», думал и говорил только

о том, как бы не забыть, не оставить на берегу что-либо, без чего в Арктике не обойтись.

Наконец 10 августа после полуночи опять заработала главная машина «Челюскина». На пристани, размахивая шапками и платками, толпились сотни провожающих. В порту прощально гудели пароходы. Мы двинулись к выходу из Кольского залива, и следом за нами до самого взморья шел учебный корабль «Комсомолец», от клотиков обеих мачт до бортов разукрашенный праздничными флагами расцветивания.

— Счастливого плавания, друзья! Возвращайтесь с победой.

Взволнованный торжественными проводами, я вспомнил читанные недавно и слышанные от других рассказы о прежних, дореволюционных русских арктических походах и о полярных экспедициях зарубежных ученых. Вот что, например, писал знаменитый норвежец Фритъоф Нансен:

«Когда исследователь возвращается на родину победителем, его ожидает торжественная встреча. Мы все гордимся тем, что он совершил, гордимся за свой народ, за все человечество.

Многие из тех, кто сегодня торжествует, присутствовали при сборах в путешествие, когда не хватало самого необходимого, когда так нужны были помощь и поддержка. Где были тогда эти восторженные люди? Спешили ли они, чтобы поспеть первыми? Нет, тогда их не было. Руководитель экспедиции был одинок и на собственном опыте убедился, что труднейшие препятствия приходится преодолевать дома, когда судно еще не снялось с якоря».

Об этом же и полные горькой боли строки из дневника Георгия Седова:

«Совсем не состояние здоровья больше всего беспокоит меня, а другое: выступление без тех средств, на какие я рассчитывал... Разве с таким снаряжением нужно идти к полюсу? Разве с таким снаряжением рассчитывал я достичь его? Вместо восьмидесяти собак у нас только двадцать, одежда износилась, провиант ослаблен работами на Новой Земле...»

Седов не дошел до Северного полюса. А главный виновник седовской трагедии, морской министр царской России Григорович, узнав о гибели экспедиции, с непередаваемым цинизмом заявил:

— Жаль, что не вернулся этот прохвост, я бы отдал его под суд!

Погиб Седов. Погиб Русанов. Бесследно исчез во льдах Брусилов. Но разве только русские экспедиции ожидала в неприступной Арктике трагическая судьба? Даже самые богатые капиталистические страны снаряжали и теперь снаряжают свои экспедиции в суровое Заполярье настолько скверно, что совсем немногим из них удастся благополучно вернуться назад.

Ни следа не осталось от многолюдной английской экспедиции Франклина.

Погиб, раздавленный льдами, австрийский пароход «Текетгоф».

Погибли почти все участники экспедиции Де-Лонга, пешком добравшиеся до берега после того, как их судно «Жаннета» было раздавлено к северу от Новосибирских островов.

И разве проявил кто-нибудь элементарную настойчивость в поисках исчезнувшего в Ледовитом океане шведского воздушного шара «Орел» и его мужественного экипажа во главе с ученым Андрэ?

Разве не бросили фашисты-чернорубашечники Муссолини на произвол судьбы экипаж потерпевшего в Арктике аварию дирижабля «Италия», искать и спасать который пришлось нашим, советским летчикам и морякам?

Разве не на собственный страх и риск отправился искать этих несчастных на самолете «Латам» великий покоритель обоих земных полюсов норвежец Руалд Амундсен? Он тоже исчез...

Даже могущественная, богатейшая Америка, и та отказалась искать разбившегося на Чукотке знаменитого летчика Эйельсона. И нашел его труп, а потом и доставил в Соединенные Штаты Америки на своем самолете советский летчик Маврикий Слепнев.

А «Челюскин» с избытком снаряжен всем, что может понадобиться в походе. И следит за нами, в любую минуту готовый помочь, весь советский народ.

...Поздней ночью, на выходе из Кольского залива в открытое море, мы распрощались с «Комсомольцем» троекратными гудками сирены и дальше пошли одни. Вскоре растаяли в сизой дымке за кормой скалистые берега Кольского полуострова. Постепенно отстали чайки, вечные спутники мо-

ряков. Мы вступали в преддверие вечных арктических льдов, и всем, кто нес вахты на верхней палубе, пришлось сменить летнюю одежду на ватные куртки и зимние шапки-ушанки.

Сто двенадцать человек: ученые, будущие зимовщики с острова Врангеля, строители-колхозники, матросы, кочегары, машинисты, механики и штурманы... Среди них одна совсем крохотная девочка, двухлетняя Аллочка, дочь начальника будущей зимовки Пети Буйко, и десять женщин: научные работники, жены зимовщиков, члены корабельного экипажа.

Складываться наш коллектив начал сразу, еще задолго до выхода «Челюскина» из Мурманска: основой, ядром его явилась значительная группа сибиряковцев, сдружившихся и сработавшихся во время прошлогоднего рейса, во главе которых стояли ледовый комиссар Шмидт и ледовый капитан Воронин. Сибиряковцы были и среди научных работников и среди моряков, они принесли на судно присущие советским полярникам традиции дружбы, доброжелательности, взаимного уважения и взаимопомощи в нелегком труде. Эти традиции быстро стали достоянием всех. В коллективе, особенно в продолжительном походе, человек не может жить сам по себе, в отрыве от товарищей. Он круглые сутки у всех на виду: и работаая, и отдыхая, и занимаясь, казалась бы, сугубо личными делами. А коль так, то к мнению товарищей прислушивайся и со всеми ужиться на корабле сумеешь: море не суша, в Арктике с судна не уйдешь, на берег до самого Владивостока не высадишься...

Не удивительно, что в такой обстановке лучшие традиции сибиряковцев только способствовали быстрейшему сплачиванию челюскинского коллектива. И в еще большей степени этому благоприятствовал более чем на три четверти молодежный состав участников экспедиции и команды.

Комсомольцев было на «Челюскине» семнадцать человек. И хотя некоторых из них уже нет в живых, а все равно ребята помнятся мне такими, какими были в ту уже далекую пору.

Миша Ткач, мой веселый курносый сосед по двухместной каюте, родившийся в городе Николаеве, в рабочей семье, на «Челюскине» работал матросом второго класса, а до него успел три года проплавать на судах торгового флота. Добродушный, общительный здоровяк, он с какой-то радостью

брался за любую самую трудную работу, а к лишениям и невзгодам походной жизни относился так, словно и они доставляли ему неизменное удовольствие своей неожиданной новизной. Эти лучшие человеческие качества привлекали к Мишуку всех ребят, и не удивительно, что наша с ним каюта постепенно стала как бы маленьким клубом челюскинских хлопцев: в ней и комсомольские собрания проводили, и собирались на репетиции, когда готовили вечера самодеятельности, и втихомолку обсуждали веселые и забавные проказы, которых было немало и в походе и впоследствии на зимовке в Чукотском море. С Мишуком мы подружились на всю жизнь, и тем больше мне было узнать в разгар Отечественной войны о его безвременной смерти на Дальнем Востоке...

Матросом первого класса был Виктор Синцов, архангелогородец, до челюскинской эпопеи пять лет прослуживший на северных морях. Виктор собирался стать штурманом, даже года полтора в морском техникуме проучился, но на большее, как говорится, пороку не хватило: учебу бросил. Парень не прочь был поважничать, погордиться тем, что участвовал в нескольких арктических походах, в том числе на «Малыгине» к Земле Франца-Иосифа. Впрочем, важность эта быстро слетела: в море все равны, а наибольший почет — тому, кто умеет лучше других в любую погоду выполнять свой матросский долг. И пришлось «недозрелому штурману», как прозвали мы Виктора, частенько тянуться за другими ребятами, чтобы не оказаться в числе отстающих. Во время войны он все-таки стал штурманом, только не морским — авиационным, и летал на бомбардировщиках.

Степан Фетин тоже родился в Архангельске и тоже пошел служить в торговый флот с юношеских лет. Плавал и кочегаром и машинистом, был секретарем комсомольской ячейки на нескольких судах, а за два года до рейса на «Челюскине» даже секретарем портового комитета ВЛКСМ. К нам на судно он пришел машинистом первого класса, после экспедиции поступил учиться в школу летчиков Главсевморпути. Окончив ее, многие годы водил воздушные корабли на авиационных линиях Заполярья. Степа умер недавно: однажды отказало сердце, и чудесного нашего Степана не стало...

Полярным летчиком вместе с Фетиним стал и челюскин-

ский кочегар первого класса Василий Громов, тоже архангелогородец, за участие в походе «Сибирякова» награжденный орденом Трудового Красного Знамени. Вот уж кто понастоящему был влюблен в Север, так это наш Вася: до «Челюскина» он успел поплавать чуть ли не на всех ледоколах Архангельского и Ленинградского портов и не признавал никаких кораблей, кроме ледоколов.

— Пароходы что? — говорил он. — Чуть тебе слабенький ледок на пути — сразу стоп, мамочка, помоги! А ледок — это сила, вроде как я среди вас: становитесь один к одному, стеной — как котят в разные стороны раскидаю!

И действительно «раскидывал», потому что силен был необыкновенно. Мы, случалось, начнем возиться, навалимся на него вдесятером, а он всех в одну кучу уложит, усядется сверху да еще и посмеивается:

— А ну, кто там еще? Подходи!

Алексей Апокин пришел к нам машинистом второго класса на производственную практику с четвертого курса Ленинградского кораблестроительного института. Он был уже членом партии, но, по традиции тех лет, оставался комсомольцем, однако разницы между собой и нами никогда не подчеркивал. Даже став после челюскинской робинзоны заместителем Народного комиссара морского флота, он по-прежнему остался для всех нас тем же отзывчивым Алексеем Апокиным, с которым всегда можно было поговорить по душам в трудную для тебя минуту. Таков наш Алеша и сегодня...

Валерий Паршинский, ныне инженер-кораблестроитель, работал кочегаром первого класса. Валя больше всего увлекался спортом. Ловкий, красивый, сильный, он умел увлечь всех нас спортивными занятиями, и притом в самой неподходящий, казалось бы, обстановке. В походе — бокс, гантели, гимнастика. Чуть корабль остановится в тяжелых льдах — футбол, городки, лыжи. А во время зимовки надумал соорудить и соорудил самодельные парусные сани — буер, на которых не без успеха катался по молодому льду.

Константин Кожин ехал с нами на зимовку на остров Врангеля. До этого рейса он успел поработать и шофером, и слесарем, и машинистом. Как и все его товарищи-зимовщики, Костя был, по сути дела, пассажиром, но с незавидной этой ролью мириться не захотел и упросил старшего механика разрешить ему работать хотя бы кочегаром второго клас-

са, угольщиком. Уж очень ему понравилась наша морская работа, он даже твердое слово дал:

— Отзиму на Врангеле три года — и в море. Не успокоюсь, пока весь земной шар из конца в конец не исхожу!

Я не знаю, где Костя сейчас. Но если прочтет он эти строки — как хотелось бы всем нам, бывшим челюскинским комсомольцам, получить весточку от давнего друга нашей моряцкой юности...

Неразлучными друзьями были кочегар Борис Кукушкин и матрос Геннадий Баранов. Оба выходцы из Архангельска, оба орденосцы-сибиряковцы, одинаково маленького роста и неизменного добродушия, они были среди нас самыми молодыми и, пожалуй, самыми покладистыми. Только Геша Баранов — светлоголовый и розовощекий, как девушка, а Боря Кукушкин — черноволосый смугляк.

Неразлучными «корешами» были и зимовщики-врангелевцы Александр Погосов и Виктор Гуревич. Саша незадолго до «Челюскина» служил в танковых частях, Витя — в Военно-Морском Флоте; окончив военную службу, оба решили посвятить себя работе в Арктике, на освоение которой после похода «Сибирякова» партия призывала всю советскую молодежь. Для Гуревича это стремление было понятно: он успел уже побывать на Камчатке. Но вот как уроженец юга Погосов решил идти на Север?

— Ты же замерзнешь, превратишься в ледышку при первом морозе, — стращали мы его. — Знаешь, какие там холода!

— Ладно, цуцки, — отшучивался Саша, — посмотрим, кто первый будет дрожать. Наша южная кровь от морозов еще горячей становится!

Он и в самом деле ничего не боялся: ни морозов, ни пурги, ни вынужденных купаний в ледяной воде, когда не раз проваливался в припорошенные снегом трещины во льду. И настолько полюбил Арктику, что после челюскинской эпопеи стал полярным летчиком, да и сейчас еще продолжает работать в авиации.

Кочегар первого класса Герман Ермилов шел с нами в первое в своей жизни морское плавание. На «Челюскине» он стал корабельным машинистом. Так с тех пор и служит в торговом флоте.

Михаил Данилкин тоже был кочегаром. Парню очень не

повезло: на судне он заболел, и когда мы добрались до берегов Чукотки, вынужден был покинуть корабль и вместе с группой товарищей отправиться в Уэллен, чтобы оттуда на попутном пароходе уехать во Владивосток. Во время Отечественной войны Миша ходил на подводных лодках на Черном море и погиб в боях с гитлеровскими оккупантами...

Погиб и чудесный наш друг, завхоз челюскинской экспедиции Борис Могилевич...

Народного художника, академика живописи Федора Решетникова, автора популярнейшей картины «Опять двойка» сегодня знают буквально все. У нас на «Челюскине» он работал библиотекарем и, как равный среди равных, влился и в нашу комсомольскую семью.

Членом этой семьи стала и Доротея Васильева, единственная наша комсомолка, вместе с мужем-геодезистом направлявшаяся на зимовку на остров Врангеля. Но о ней и о Феде Решетникове я еще расскажу...

Семнадцать человек, семнадцать комсомольцев. А всего на судне было сто двенадцать энтузиастов покорения Арктики: и молодежь, и люди в летах, и самые пожилые из нас: помполит Алексей Николаевич Бобров и корабельный плотник, шестидесятилетний моряк Адам Доминикович Шуша.

Но, оказалось, мы не учли, а вернее, ничего не знали о сто тринадцатом человеке: об архангельском кочегаре Михаиле Субботине, который еще в Мурманске тайком пробрался в угольный бункер да и просидел в нем двое суток до тех пор, пока «Челюскин» не вышел далеко в открытое море. Что было с ним делать? Брать с собой в экспедицию нельзя: лишний человек не предусмотрен штатным расписанием. И на возвращение назад в порт для высадки неожиданно-негаданно объявившегося «зайца» капитан не имел права тратить ни дня драгоценного времени. Впереди до самого Петропавловска-Камчатского не было ни одного населенного пункта, где бы мы могли его высадить.

Положение казалось безвыходным, и «заяц», пожалуй, понимал это не хуже самого Воронина.

— А чего особенного? — плутовато усмехнулся парень в ответ на капитанский разнос. — Страсть захотелось идти с вами, вот и забрался в бункер. Во всех газетах пишут: «Молодежь, в Арктику!» Чем я хуже других? Не бойтесь, даром хлеб не ем: буду кочегарить — лучше не надо!

Владимир Иванович спокойно выслушал все эти «обоснованные» доказательства и хитровато блеснул темно-серыми глазами:

— Ты прав, даром кормить не будем. Шагай пока в кочегарку, на подноску угля к топкам. А там посмотрим...

И новоявленный кочегар, откровенно довольный сложившейся ситуацией, покинул рубку. А «Челюскин» продолжал следовать прежним курсом.

12 августа после полудня далеко впереди на горизонте возникли очертания новоземельских гор. С каждым часом они все отчетливее проступали на голубом фоне неба и моря и, наконец, на мрачных черных вершинах ярко заискрился вечный полярный снег. Вахту за вахтой двигался корабль по направлению к берегу, а берег как будто и не думал приближаться. Лишь все рельефнее становились контуры изломов горного кряжа, да все ослепительнее сверкала в солнечных лучах их снежная мантия. И ни дымка из трубы, ни признака человеческого жилья на берегу — ничего!

Вечный снег. Вечная тишина.

«Сколько лет, — думал я, — должно еще пройти, прежде чем это безлюдье и эта первозданная тишина уступят место шуму и гулу людской жизни? А ведь чем дальше на северо-восток, тем безлюднее и пустынее... Сколько же лет понадобится для того, чтобы стали мы хозяевами всего этого края?!»

...Рядом, на палубе, послышался удивленный возглас кочегара Вали Паршинского:

— Смотрите, хлопцы, еще кто-то топает! Во-он, правее нашего курса...

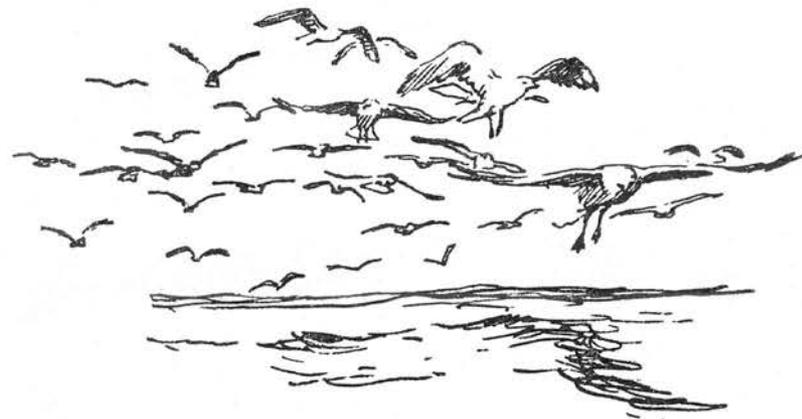
— Лесовоз «Правда», — подхватил сверху, с мостика, вахтенный штурман Борис Виноградов. — На Лену спешит, за сибирским лесом.

И сразу — ни безмолвия, ни тишины: жизнь! Там, уже в Карском море, ледокол «Красин» ведет сейчас через льды еще семь пароходов к устью многоводной сибирячки Лены за драгоценной экспортной древесиной. С недавних пор такие походы стали ежегодными, даже успели получить название карских экспедиций. Но тогда это было здорово; мы первыми шли на «Челюскине» открывать для наших судов морские пути в неизученном Арктическом бассейне.

Скорость у «Челюскина» больше, чем у «Правды», и постепенно мы начали догонять лесовоз.

Близилась светлая, задумчивая, как сказка, полярная ночь. Впереди по курсу отчетливее и шире расступалась темная щель в гранитной тверди новоземельских гор.

«Челюскин» входил в пролив Маточкин Шар.



### «Красин» спешит на выручку

Пролив делит Новую Землю на два острова: Северный и Южный. Извилистой лентой тянется он среди отвесных коричнево-черных скал, и временами каменные громады сходятся настолько близко, что кажется, будто дальше пути нет. Но капитан Воронин бывал здесь не раз, и, словно уступая его воле, скалы снова и снова расступаются в стороны, открывая «Челюскину» путь к уже недалекому Карскому морю.

Как пустынно, удручающе-мертво в проливе! Только у входа в него прилепилось к песчаной отмели мыса Лагерного маленькое, в несколько приземистых домиков, становище полярников и промышленников-зверобоев, да с восточной стороны пролива, у самого порога Карского моря, сгрудились вросшие в каменистую землю хибарки поселка Белушья губа. А в самом проливе — скалы да скалы, испещ-

ренные белыми проплешинами не растаявшего за лето снега. Даже птичьих базаров нет, словно птицы — и те не хотят гнездиться в неприятных здешних местах.

Тем приятнее была встреча с пароходом «Аркос», дремавшим в ожидании «Челюскина» на якоре неподалеку от становища Лагерное. Владимир Иванович по радио условился об этом randevu с капитаном лесовоза, возвращавшегося в Архангельск. Для какой цели — не знал никто. И громом среди ясного неба были для всех слова Воронина, обращенные через усилитель-мегафон к командиру ожидавшего нас корабля:

— Петр Дмитриевич, возьмите у меня пассажира!

— Да ведь мест удобных нет, Владимир Иванович, — слышался такой же оглушительный ответ. — Все каюты переполнены.

— Ничего, пассажир не из привередливых. — Воронин рассмеялся, и смех его словно запрыгал по гребешкам мелких волн. — В кочегарском кубрике койка найдется, и ладно. Спускаю шлюпку!

Я заметил, как сразу поникли, ссутулились широкие плечи «зайца», как вытянулось его только что ухмылявшееся лицо. И когда совсем скисший Субботин спускался по штурмтрапу в шлюпку, ни один из нас не посочувствовал ему: в экспедиции лишним не место — таков закон.

Распрощавшись с «Аркосом», «Челюскин» малым ходом двинулся в глубь пролива Маточкин Шар, в сторону Карского моря. Вскоре Новая Земля осталась позади, а вокруг, куда ни глянь, не виднелось ни льдинки на всем просторе серовато-свинцовых, пологих, с рябинками пены волн. Да какая же это Арктика, если льдов и в помине нет?!

Слыша возгласы недоумения по этому поводу, Владимир Иванович недовольно нахмурился:

— Погодите спешить, не кличьте раньше времени. Скоро будет такой ледок, что дай боже пройти...

В голосе Владимира Ивановича звучала озабоченность. И подумалось: «Да, «Челюскин» не ледокол... Как-то он поведет себя в тяжелых, многолетних паковых льдах...»

Перед выходом в рейс мы наведались в Мурманский райком комсомола и подробно договорились о том, как вести комсомольскую работу в экспедиции. Мурманчане рекомендовали избрать секретарем ячейки хорошо известного им

Степу Фетина, а теперь наступило самое подходящее время для организационного оформления челюскинской комсомолки. Собрались все семнадцать в просторном красном уголке, рядом со столовой команды, пришел и секретарь партийной ячейки машинист Володя Задоров. Прежде всего избрали бюро: Степу Фетина, как и советовали мурманчане, секретарем, Мишу Ткача заворгом, меня культпропом, Федю Решетникова членом редколлегии корабельной стенной газеты «Северный морской путь», а Васю Громова — представителем комсомольцев в судовом комитете. Нашлись поручения и для остальных ребят. Валя Паршинский стал организатором спортивной и военной работы, Виктор Синцов — бригадиром палубной комсомольской вахты, Миша Данилкин — заведующим красным уголком. А Фетин, кроме секретарских, взял на себя еще и обязанности бригадира комсомольской вахты в машинном отделении.

Я и раньше не раз бывал на комсомольских собраниях — и на других судах и на берегу, но не видал, чтобы они проходили так горячо, увлеченно, заинтересованно, как это было теперь на «Челюскине». Ни пустой болтовни, ни «дежурных» призывов и беспредметных обязательств: речь шла о самом главном, конкретном и неотложном, чем жил буквально весь экипаж.

— Пароход новый. Оборудование иностранное, — говорил Степа Фетин. — От нас зависит, как оно будет работать. А оно должно работать, иначе — знаете сами... Отсюда и главная наша задача: дисциплина — раз, овладение техникой — два.

Главная задача... А разве могли у нас быть задачи не главные или второстепенные? За что ни возьмись — все главное, все подчинено одной цели: за оставшиеся еще недели скоротечного полярного лета пройти Северный морской путь. А потому и решили мы создать палубную и машинную комсомольские вахты, которые должны стать образцом для всех.

Но и политическая учеба тоже отнюдь не второстепенное дело. Есть ли смысл создавать отдельную комсомольскую школу? Конечно, нет: гораздо лучше, если все ребята будут заниматься в кружках по изучению истории партии, а их на судне уже создано целых три.

— Выходит, все мы да мы, — не к месту брякнул Гер-

ман Ермилов, не отличавшийся чрезмерной активностью, — а некомсомольцам что останется? Особенное положение, льготы, как «несознательному элементу»?

Ох, и досталось же ему от ребят! Где он видел «несознательных», когда любой человек на судне готов работать за двоих? И чтобы не возвращаться к этому, ребята из комсомольских вахт тут же решили вызвать на социалистическое соревнование всех остальных моряков, а каждый комсомолец — взять шефство над одним или двумя своими товарищами.

Тут и я рискнул вставить слово:

— Что, шефствовать можно только над матросами и коцегарами или над штурманами и механиками тоже?

Решетников сразу поймал меня на слове:

— Ты вахту с третьим штурманом, с Борисом Виноградовым стоишь. Тебе над ним и шефствовать. Подумай, не пора ли и Борису комсомольцем стать.

До позднего вечера засиделись мы в красном уголке на первом своем собрании. А выбрались на верхнюю палубу подышать свежим воздухом — глазам не поверили: весь горизонт впереди по курсу судна испещрен белыми полосами приближающихся ледяных полей.

Часом позже на 74,5° северной широты и 63° восточной долготы «Челюскин» впервые вошел в разреженные льды. Лавируя в разводьях, он полным ходом двигался до тех пор, пока не уперся в сплошной ледяной массив. Но и тут нам еще не изменила удача: льды оказались летними, иссопанными солнцем и тальми водами и сравнительно легко поддавались ударам стального форштевня. Шипя, поскрипывая, они расходились в стороны; пароход, ломая перемычку за перемычкой, продолжал продвигаться по курсу.

Правда, шли мы теперь гораздо медленнее, чем по чистой воде или хотя бы в разреженном льду. Приходилось то останавливать корабельную машину, то пятиться назад, чтобы, набрав разгон, всею тяжестью судна ударить по очередной преграде. И все же продвигались, упорно пробивались дальше и дальше, оставляя за кормой канал открытой воды, забитой ледяным крошевом.

Это радовало всех, особенно капитана Воронина. Еще бы: судно загружено так, что укрепленная часть корпуса, ледовый пояс, находится глубоко под водой. Тем не менее да-

же незащищенным корпусом корабль раздвигает, расталкивает, бьет и ломает не очень-то легкие льдины!

Однако радость оказалась преждевременной. Молодой ученый-физик Ибрагим Факидов, через каждый час спускавшийся в носовой трюм к установленным там приборам, регистрировавшим деформацию обшивки, неожиданно обнаружил несколько небольших течей. Забортная вода просачивалась под тремя прогнувшимися от ударов шпангоутами — возле них вылетели из пазов заклепки. Каждый новый удар, каждая новая перемычка, взломанная кораблем, чуть-чуть увеличивала течь. А устранить эти повреждения мы при всем желании не могли: тысяча двести тонн каменного угля, хранившегося в трюме и предназначенного для передачи ледоколу «Красин», не позволяли подступиться к поврежденным местам.

— Дело дрянь, — выслушав сообщение ученого, помрачнел капитан. — Этак недолго и нос расквасить. А тогда...

Он умолк, ушел на крыло мостика: в одиночестве легче думать. Отто Юльевич проводил капитана понимающим взглядом и не сказал ни слова. Молчали и мы, несколько человек, в это время находившиеся на мостике: и так было ясно, что означает многозначительное, полное злой горечи капитанское «а тогда». Стоит «расквасить» нос корабля, и конец экспедиции: ложись на обратный курс, топай полным ходом назад, в Мурманск, на капитальный ремонт...

Капитанское «а тогда» мы услышали в тот же день на коротком совещании, состоявшемся в корабельной каюткомпании. Владимир Иванович говорил коротко и отрывисто, как всегда:

— Дальше — стоп, не пройти: льды не пустят. Но назад тоже ходу нет. Нету ходу назад, ни мили! Значит, так: вызываем по радио «Красина». Пусть, к чертям, забирает свой уголь, мы ему не баржа! А пока подойдет, инженеру Ремову с плотниками готовить дополнительные крепления в первом трюме. Остальным — аврал: уголь на «Красина» будем перегружать. Все! И я тоже буду! От аврала освобождаю только вахтенных нижней команды и вас, Отто Юльевич, не считая, конечно, женщин. Вопросов нет?

Мы молчали: какие же могут быть вопросы?

— Однако перегрузка угля на «Красина» еще не конец, — продолжал Воронин. — Уголек, что в носовом трюме



останется, придется переташить на корму. Туда же и весь остальной груз из первого и второго трюмов: чтобы нос корабля до ледового пояса из воды поднять. Тогда и дальше пойдём. Возражения есть?

А какие могли быть возражения? У кого и против чего?



Вместо нас всю эту колоссальную работу делать некому. — Значит, все. Через час приступаем к работе! — и капитан ушел наверх, на ходовой мостик.

Отто Юльевич проводил его взглядом до самой двери и негромко спросил:

— Может быть, все же есть вопросы, товарищи? Может быть, предложения есть? Прошу...

— Как же так, — поднялся геодезист Яков Яковлевич Гаккель, которого с легкой руки сибиряковцев все мы звали короче и ласковее: Як-Як. — Как же так: перегрузка, аврал... Скопом? «Давай-давай!»?

— Нет, зачем же? — Шмидт покачал головой. — Лучше не скопом. Разделимся на две равные бригады и будем работать посменно. Надеюсь, не станете возражать, если мы попросим вас быть одним из бригадиров?

Лицо ученого залилось краской: он не ожидал, что Отто Юльевич так истолкует его замечание.

— Я согласен, — сказал Як-Як, — бригадный метод авралов и на «Сибирякове» себя всегда оправдывал. Поработаем!

— Вот и отлично, — улыбнулся профессор и поднял глаза на корреспондента «Известий» Громова: — Борис Васильевич, у вас предложение?

— Нет, вопрос, если разрешите. По какому принципу подбирать людей в бригады? В одну членов команды, в другую экспедиционный состав? Мне кажется...

Шмидт рассмеялся, не дал ему закончить:

— Вам с Яковом Яковлевичем виднее, потому что вторую бригаду возглавите вы. А относительно расстановки людей посоветуйтесь с товарищами Задоровым и Фетиным: коммунистов и комсомольцев в каждой бригаде должно быть поровну.

Он поднялся из-за стола, провел ладонью по бороде:

— Все, друзья, не будем мешать бригадирам. Через час — аврал.

В тот день я впервые увидел и понял, как велико различие в характерах Шмидта и Воронина. Владимира Ивановича знал раньше, по Архангельску, а к Отто Юльевичу пока еще только присматривался, расспрашивал о нем, как и все новички, у ребят-сибиряковцев. Шмидт — ученый, холодный и трезвый математик-аналитик, всесторонне образованный интеллигент, отличавшийся неизменным, поразительным спокойствием, выдержкой и хладнокровием. Таким он всегда был и оставался — и в походе, и на зимовке, и во время двухмесячной ледовой одиссеи в Чукотском море. Мы ни разу не видели ледового комиссара в гневе, не слы-

шали от него не только бранного, но хотя бы резкого, в повышенном тоне слова.

Воронин — стукот клокочущей энергии, средоточие беспредельного добродушия и необузданного гнева, сочетавшихся с широким, нараспашку, поморским гостеприимством к людям труда и с презрением, со злою брезгливостью к каждому, кто посмеет предпочесть личное благополучие общему делу. И вот эти-то люди, буквально во всем несхожие между собой, год за годом работали плечом к плечу: 1929 год — поход «Седова» на Землю Франца-Иосифа; 1930 год — второй поход «Седова» на Землю Франца-Иосифа и на Северную Землю; 1932 год — поход «Сибирякова» из конца в конец по всему Великому Северному морскому пути; 1933 год — наша экспедиция на «Челюскине»...

После челюскинской эпопеи я не раз ходил с Владимиром Ивановичем Ворониным в море, ходил и в годы Великой Отечественной войны. Я на собственном опыте знаю, сколь крут и до невозможного резок бывал иногда этот вспльчивый, но быстро отходчивый человек. Сказал слово — умри, а сделай, выполни приказание сию же минуту!

А профессор, впоследствии академик, Отто Юльевич Шмидт не любил, органически не терпел приказной, категорической формы взаимоотношений с людьми. Зато он, как никто другой, умел оценивать каждого человека по достоинству, по его деловым и моральным качествам и всегда заранее знал, кому и что можно доверить и поручить. Только этими истинно глубокими знаниями человеческих душ и характеров можно, пожалуй, объяснить, что ледовый наш комиссар никогда не ошибался в своем выборе ни в большом, ни в малом.

Не ошибся он и в тот предавральный день во льдах Карского моря, когда не назначил, а мягко попросил Гаккеля и Громова стать руководителями двух наших бригад.

Через час после экстренного совещания в первом трюме судна уже гулко бухали топоры и кувалды плотников, готовивших из бревен дополнительные крепления для шпангоутов и поврежденной обшивки корпуса. Водолазы Мосолов и Харкевич замешивали цементно-песочный раствор для пластырей на те места, где внутрь парохода просачивалась забортная вода. А новоявленные бригадиры будущих грузчиков яростно спорили над списками экспедиционного состава

и команды «Челюскина», вместе с Володей Задоровым и Степой Фетиным поровну распределяя людей на две смены.

Впрочем, спор их закончился добрым миром: распределили всех, в том числе и ученых, и штурманов, и механиков. Только женщин, Отто Юльевича и вахтенных машинной команды не включили в списки. А напоследок еще и договор на социалистическое соревнование заключили: чья бригада добьется на аврале наилучших показателей, той и всечелюскинский почет!

Ночь пришла темно-серая, с первым легким августовским снежком. Я бродил из конца в конец по палубе, в одиночестве коротая ночную матросскую вахту: вызванный по радио ледокол «Красин» должен был подойти лишь к концу следующих суток. Скучно было вот так, одному: все ребята спят, не с кем словом перемолвиться. И до того тихо вокруг, словно я один на один со всей вселенной...

Дальше будет еще тише: дальше, по ту сторону Карского моря, к востоку от мыса Челюскин, лежит и ждет нас все еще неведомая, таинственная страна голубых арктических просторов, где сумели до нас оставить свой едва заметный, пунктирный след всего лишь четыре экспедиции: Норденшельда, Амундсена, Вилькицкого и «Сибирякова». Мы идем туда пятыми. Пройдем ли? Надо, должны пройти: ведь это наша страна, наши моря, и, как говорил Владимир Иванович Воронин еще в Архангельске, нам на них хозяйничать, нам их и обживать! Недаром десять с лишним лет назад, когда молодая советская власть только начинала восстанавливать разрушенное империалистической и гражданской войнами народное хозяйство, Владимир Ильич Ленин обратил такое большое внимание на освоение районов Крайнего Севера. Это по его инициативе в 1922 году была снаряжена и отправлена в Арктику первая советская исследовательская экспедиция на небольшом пароходе «Персей». Это по его заветам наши полярники год за годом упорно и настойчиво отвоевывают у Арктики ее земли, осваивают и покоряют ее моря, строят все новые зимовки и открывают научные станции.

Уже построены такие станции на Новой Земле, на Земле Франца-Иосифа, на Северной Земле и на мысе Челюскин. Уже действуют, поддерживают постоянную радиосвязь и в восточном секторе Арктики — в Уэллене и на мысе Север-

ном. Из Архангельска караваны транспортов ходят в устье Лены, из Владивостока — в устье Колымы. Вырос морской порт в Игарке. Строится порт в бухте Тикси, радиостанция, морской порт и аэродром на Диксоне.

Сегодня и мы участвуем во всем этом. А следом за нами придут новые молодые энтузиасты, и скоро здесь не останется ни одного «белого пятна»!

...Я думал обо всем этом с теплым чувством благодарности к судьбе, которая привела меня и на это самое желанное судно, и не заметил, как наступило утро. Солнце лениво выплыло из-за горизонта, и в неярких лучах его засверкал, заискрился снег.

Пустыня? Нет: кто-то движется вон там, неподалеку, в сиянии солнечных лучей... Кто-то явно спешит-торопится прямо к нам, к спущенному на лед трапу... Кто?

Я помчался на полубак, где выше и откуда подалее видно. Присмотрелся: неужели «хозяин»? И когда, наконец, разглядел его, со всех ног бросился назад на палубу, потом на спардек, а оттуда по трапу наверх, в штурманскую рубку:

— Гаврилыч, медведь!

— Где? — вскочил с дивана вахтенный помощник капитана Марков.

— На льду с правого борта. Сюда идет!

Штурман выскочил из рубки, захохотал по трапу вниз. Я — бегом назад, на полубак. Глянул на лед, а медведь уже возле самого борта: крупный, с доброго теленка, с лоснящейся желтовато-белой шкурой. Только черный треугольничек носа, приюхиваясь, чуть шевелится на этой желтизне, да черные глаза-вишни с любопытством и настороженностью следят за каждым моим движением.

Мы и раньше видели «хозяев» Арктики, но всякий раз издали: шум корабельного винта и грохот ломающихся льдин отпугивали их. А этот чудак явно намеревался познакомиться с нами поближе. Он вытягивал шею, удивленно покачивал широколобой головой и, возможно, направился бы к трапу, если б на полубак не примчались вооруженные винтовками Марков и завхоз Могилевич. Борис успел накинуть на себя только развевающийся на ветру прорезиненный плащ, а обуться в спешке забыл. Ледяная железная палуба жгла его босые ноги, и завхоз, смешно пританцовывая, принялся лихорадочно целиться в зверя, с неожиданно жалоб-

ной ласковостью упрашивая его:

— Мишенька, подожди... Миленький, не убегай...

Марков выстрелил первым, и медведь сразу пустился наутек. Он ловко прыгал по ледяным изломам, то скрываясь за ропаками, то опять показываясь, и быстро удалялся от судна, а вслед ему часто-часто, но безвредно щелкали выстрелы горе-охотников — винтовки в руках у них ходили от волнения ходуном.

Но вдруг зверь рывкнул, закружился на месте и вцепился зубами в заднюю ногу: значит, угодила чья-то пуля. Прогрели еще несколько выстрелов, и только после этого медведь ткнулся мордой в снег и затих...

— Готов! — радостно завопил Могилевич и, кажется, только теперь с величайшим удивлением почувствовал, как заоченели его босые ноги. — А валенки? Где мои валенки? — Он растерянно огляделся.

Вид у Бориса был такой комичный, что мы со штурманом покатались от смеха:

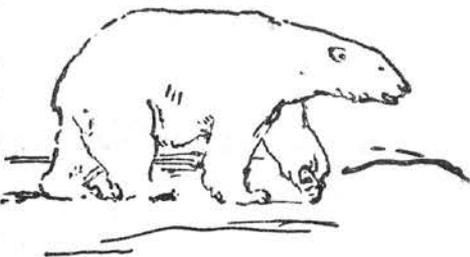
— В каюте остались!

— Ты их небось под койкой забыл...

— А, чтоб вас! — и Боря помчался обуваться.

В то утро на корабле только и разговоров было, что о блистательной охоте «отважных зверобоев». Марков или Могилевич убил зверя, осталось неизвестно, но каждый из них приписывал победу только себе. А ребята сочинили совсем другую версию. Мол, подошел медведь к судну, увидел, как какой-то полуголый психопат отплясывает босыми ногами румбу на палубе, и до того расхохотался, что тут же пал бездыханным трупом. Охотники злились.

После того как медведя подтащили к судну и лебедкой подняли на палубу, оба охотника — но каждый в отдельности — поспешили сфотографироваться рядом со «своим» трофеем. Только закончив эту торжественную процедуру, герои дня великодушно разрешили помощнику завхоза Са-



ше Канцыну приступить к свежеванию первой за время нашей экспедиции добычи.

Новички, впервые попавшие в Арктику, заранее предвкушали жаркое из медвежатины. Бывалые полярники загадочно посмеивались:

— Не очень наваливайтесь. Чтобы всем хватило. Медведь один, а нас больше сотни...

На камбузе взапуски гремели кухонные ножи: корабельный кок и его помощник спешно готовили медвежьи отбивные и бифштексы. Но начался обед, и соблазнительные, лакомые на вид деликатесы из медвежатины не смог есть почти ни один человек: у бифштексов и отбивных был вкус залежалой, прогорклой ворвани.

Вот, оказывается, почему усмехались старые северяне: вместо «ароматной» свеженины почти всем нам пришлось утолять голод наскоро разогретыми мясными консервами. Только капитан Воронин, боцман Загорский да еще несколько сибиряковцев на зависть всем с откровенным удовольствием отдали дань утреннему трофею: им, бывалым полярникам, угощение из медвежатины оказалось не в новинку.

К концу обеда по кораблю разнеслась принятая по радио весть: ледокол «Красин» придет раньше, чем мы его ждем. Лед, слишком тяжелый для «Челюскина», не смог остановить это могучее судно. «Красин» шел, как по чистой

воде, напрямик, словно любуясь своею массивной ловкостью и силой, и часа через два уже стоял борт о борт с нашим пароходом.

Начался аврал.

Первой приступила к работе бригада Гаккеля. В глубине трюма ребята быстро наполняли углем объемистые брезентовые мешки и отправляли их лебедкой вверх, прямо на палубу ледокола, где уже сами красинцы так же быстро подхватывали тяжелые ноши. Подъемы следовали один за другим, без заминок, без перекуров, так что самый темп и ритм авральной работы подгонял грузчиков. В трюме сгустилось черное облако угольной пыли, почернели до неузнаваемости и лица, и руки ребят — только белые зубы и белки глаз сверкали в этой черноте.

Мы не заметили, как прошло два часа, и удивились, что перегрузка была внезапно прекращена.

— Вылезайте! — послышался сверху, с палубы, голос Бориса Громова. — Наша очередь!

— Как ваша? — запротестовал Як-Як. — Мы же условились аврально по шесть часов.

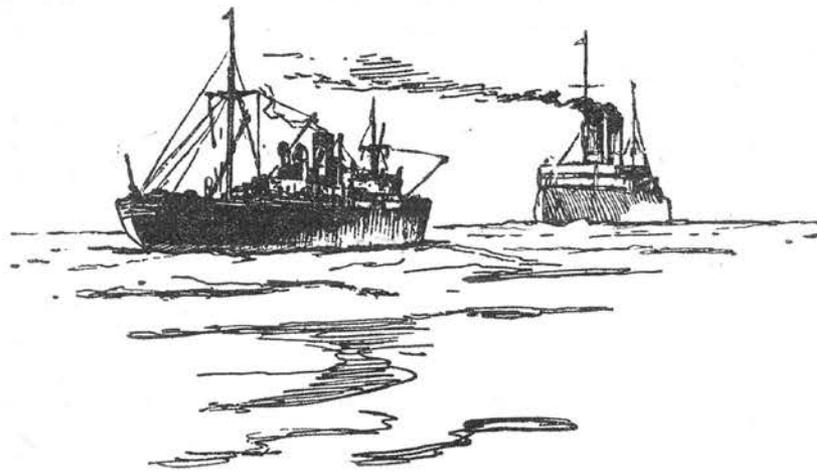
— Распоряжение Отто Юльевича!

Ребята потянулись к трапу, выбирались на палубу. Там, в неизменной своей нерпичьей куртке и в кепке с большим козырьком нас поджидал начальник экспедиции. Он с любопытством вглядывался в черные, под толстым слоем угольной пыли похожие одно на другое лица и, когда собрались все, сказал:

— Маленький корректив, товарищи, не возражаете? При таком темпе шестичасовую смену не выдержать. Поэтому будем работать по два часа. Борис Васильевич, прошу.

Громовцы двинулись к трюму, мы — в корабельную баню, а за спиной у нас опять зарокотали грузовые лебедки. Шмидт не зря беспокоился о людях: с непривычки ни у кого, даже у самых могучих, не хватило бы сил выдержать шестичасовую, как договорились раньше, авральную нагрузку. А по два часа — ничего: к полуночи в бункерах «Красина» уже лежал весь предназначавшийся ему уголь. Но только с этой минуты аврал по-настоящему и начался...

Чтобы поднять ледовый пояс корабельного корпуса до нужной высоты, надо было перегрузить из носовых трюмов



на кормовую палубу судна еще не менее четырехсот тонн угля. Перегрузить — значит на собственных спинах перенести эти четыреста тонн из конца в конец по всему пароходу, в среднем по четыре тонны на каждого человека! И мы носили. Всю ночь и всю половину наступившего за ней дня. Таскали мешок за мешком, балансируя на крутых трапах, осторожно шагая по скользким палубам.

Работали все, кроме женщин, вахтенных машинистов и кочегаров, — и Воронин, и помполит Бобров, и самый старший из нас, корабельный плотник Адам Доминикович Шуша. Только Шмидту работать не разрешили.

Мы продолжали работать и когда «Красин» отшвартовался от нашего борта и начал взламывать лед вокруг «Челюскина». Работали до тех пор, пока в носовых трюмах не осталось ни лопаты угля, а ледовый пояс приподнялся наконец-то над поверхностью льда.

— Все! — только и сказал капитан Воронин. — Теперь опять сами пойдем!

А у меня подогнулись дрожащие ноги, и где стоял, там и сел на палубу...

«Красин» ушел к своему каравану.  
«Челюскин» остался один.

Осторожно лавируя в редких разводьях, ломая ледовые перемычки, пароход милю за милей пробивался на север, где, по предположению капитана, могла быть чистая вода. Но так продолжалось недолго: днем 22 августа дорогу опять закрыли сплошные ледяные поля. Как ни бились, ни меняли ходъ с переднего на задний — ни с места! Неужели опять звать «Красина» на помощь?

Пожалуй, пришлось бы, если б у нас на палубе судна не стоял самолет-амфибия Ш-2 — пока еще ничем не проявившая себя в походе стрекоза-«шаврушка». Воронин приказал спустить ее на широкую полынью под кормой и вместе с летчиком Бабушкиным отправился на ледовую разведку.

Когда они вернулись из полета, Владимир Иванович бегом поднялся на корабельный мостик, бросился к машинному телеграфу. «Полный вперед»: в нескольких милях от стоянки, чуть правее курса, неоглядное море чистой воды!

«Челюскин» пробился, выкарабкался, выполз к ней. Шел по чистой воде всю ночь.

Утром 24 августа мы были уже в районе острова Уединения.

Открытый в 1878 году норвежцем Йогансенем, который лишь прошел вблизи, не рискнув высадиться на берег, остров этот был нанесен на карту с большими погрешностями. Только тридцать семь лет спустя, в 1915 году, полярный исследователь Свердруп подошел к острову и сложил на нем каменный опознавательный знак — гурий. Унылый вид и отдаленность затерянного среди океана клочка суши произвели на Свердрупа такое гнетущее впечатление, что он назвал его островом Уединения. Но и на этот раз точные географические координаты не были определены, и с тех пор две буквы — «ПС», что значит «Положение сомнительно», всегда печатались рядом с названием острова на всех географических картах.

В послереволюционные годы Владимир Иванович Воронин дважды проходил на ледоколе «Седов» в районе, где должен был находиться «сомнительный» остров Уединения, но ни разу не обнаружил не только землю, а хотя бы мель. В чем же дело? Не произошла ли с островом та же ошибка, что и с пресловутой Землей Санникова, тоже некогда «открытой» и тоже нанесенной на карту?

Мы пришли к острову Уединения ранним утром и сразу

спустили на воду шлюпку. Хмурый, безжизненный клочок земли вздымался над морем угрюмыми черно-коричневыми скалами, четко вырисовывавшимися на светлом фоне белевого предзимнего неба. Шлюпка без труда добралась среди редких льдин до берега, где геодезисты наконец-то впервые смогли определить точные координаты этой забытой людьми и богом земли: 77° 30' северной широты и 81° 10' восточной долготы. Оказалось, что остров лежит на сорок миль юго-западнее пункта, отмеченного Свердрупом, потому и не смог его в свое время обнаружить или хотя бы издали заметить экипаж «Седова». Зато отныне ни один корабль не ошибется и не собьется с пути к нему. Наши товарищи выложили на северо-восточном берегу высокий каменный гурий и оставили в нем запечатанную бутылку со следующей запиской:

«24 августа 1933 года высадились члены экспедиции на пароходе «Челюскин» гг. Шпаковский, Громов, Сельвинский, Муханов, Гордеев, Факидов, Могилевич, Трояновский, Шафран, Гаккель, Ремов, Баевский, Хмызников, Стаханов, Ширшов. На данном месте определены астрономический и магнитный пункты (Гаккель, Факидов). Экспедиция продолжает плавание к острову Врангеля и далее во Владивосток.

Начальник экспедиции **О. Ю. Шмидт**».

После этого шлюпка так же благополучно возвратилась на судно.

Тем временем к «Челюскину» подошел «Седов», тоже нуждавшийся в топливе для котлов. Перегрузив на него двести тонн угля, мы на рассвете вместе с ледоколом покинули стоянку возле неприветливого, мрачного острова и взяли курс к архипелагу Северная Земля.

Год назад «Сибирякову» впервые в истории мореплавания удалось обогнуть этот архипелаг с севера и нанести его контуры на мореходную карту. Владимир Иванович намеревался и на этот раз пройти тем же северным путем, не возражал и капитан «Седова», однако их надеждам не суждено было сбыться. Тяжелые многолетние льды то и дело преграждали кораблям путь, и не только «Челюскин», но даже испытанный «Седов» не мог продвинуться ни на метр.

Напрасно штурманы «играли ходами»: в ледяном монолите не появлялось ни трещины. Напрасно вахтенные матросы

с борта на борт до отказа переключивали руль: ледяные тиски не ослабевали. Напрасно и Воронин с Бабушкиным летали в разведку: на многие десятки километров впереди кораблей они не обнаружили с воздуха ни проблеска чистой воды...

Сложное, небывало трудное в ледовом отношении лето выдалось в этом районе Арктики. Преобладавшие северные ветры пригнали из глубин Ледовитого океана, из приполюсных районов колоссальные массивы паковых, крепких, как гранит, льдов, и они намертво закрыли для нас путь на восток.

Пришлось, наконец, Воронину признать свое поражение. Повернув назад, корабль начал пробиваться к югу и к концу августа с огромным трудом добрался до берегов Харитона Лаптева, где только и смог повернуть на восток, к архипелагу Норденшельда. Вот когда все мы вздохнули с облегчением: вырвались, не застряли! А ведь упорству Воронин дальше, пожалуй, и «Красин» не скоро смог бы помочь нам: короткое северное лето близилось к концу. Максимум через месяц наступит зима с пургами и морозами, с многомесячной темной ночью. Успеем ли мы за этот последний месяц преодолеть сотни и сотни миль тяжелейшего пути, оставшегося до Берингова пролива?

Вслух никаких тревожных предположений не высказывал, конечно, никто: не в характере полярников и мореходов вести подобные разговоры. Но думали о приближающейся зиме, хмурились, ожидая ее, многие: приятно ли зимовать среди дрейфующих льдов на переполненном людьми корабле?

С тем большей радостью и весельем встречали мы каждое событие, происходящее в нашей, отнюдь не богатой неожиданностями, походной жизни.

Одним из таких взволновавших всех событий было появление на «Челюскине» нового участника — вернее, участницы — экспедиции: комсомолка Дора Васильева, жена геодезиста, зимовщика с острова Врангеля Васи Васильева родила дочь! Подумать только: в сердце Арктики, в открытом море на свет появился человек! Даже не очень улыбочивый капитан Воронин, и тот, узнав об этом, с довольным смехом подергал себя за каштановый ус:

— К удаче, определенно, к удаче. Верная примета!

А у нас сразу разгорелись ожесточенные споры: каким именем назвать малытку? Спор этот могли решить только

родители, им принадлежало последнее слово. Но Дора еще не выходила из каюты, а счастливый отец бродил по судну с таким обалделым видом, что нечего было и пытаться выяснить его мнение.

— Делайте, что хотите, — отмахивался молодой папаша от самых назойливых. — Называйте, как лучше...

А каким именем назвать новорожденную, о которой завтра с удивлением узнает весь мир?!

И мы нашли его, необыкновенное имя — Карина! В честь Карского моря, где в самый разгар битвы со льдами малытка появилась на свет.

В тот же день вечно озабоченный, а потому вечно рассеянный судовой врач Мироненко принес в радиорубку для передачи в Москву, в загс, следующую радиограмму:

«В ночь на 31 августа на пароходе «Челюскин» в Карском море у граждан Васильевых родилась дочь Карина. По заявлению отца, матерью ребенка является его жена Доротея Васильева».

Великий мастак на шутки, радист Эрнест Кренкель прочитал творение доктора с самым серьезным видом, не моргнув глазом. Потом сложил лист с текстом радиограммы пополам и с глубоким вздохом сожаления вернул автору:

— Не могу... При всем моем уважении к вам такую депешу принять не имею права...

— Но почему? — возмутился Мироненко. — Должны же в Москве зарегистрировать ребенка!

— Должны, — покорно согласился Кренкель, — обязательно должны. Только сообщить надо самый факт, без подробностей и уточнений, а вы...

— Что я?

— А вы свидетелей приплетаете... Папашу... Откуда вы знаете, доктор, не врёт ли он, будто Карину родила Дора Васильева?

Только тут до врача дошел весь комизм написанного им сообщения. И вместо радиограммы в Москву в судовой журнал «Челюскина» была занесена соответствующая запись: «31 августа. 5 час. 30 мин. у супругов Васильевых родился ребенок, девочка. Счислимая широта 75°46'51" сев., долгота 91°06' вост. Глубина моря 52 метра».

Новому члену экипажа мы решили отвести место и в специальном номере стенной газеты, который корабельная ред-

коллегия готовила к приближающемуся празднику молодежи — Международному юношескому дню. Федя Решетников нарисовал смешного запеленатого карапуза с соской во рту, а под рисунком Зина Рыцк аккуратно вписала «Обязательство Карины». Среди них были и такие:

«Обязуюсь, кроме слова «мама», больше никаких матерных слов не произносить и вызывать...» — дальше следовали фамилии кое-кого из любивших чересчур «крепкие» словечки и выражения.

«Обязуюсь до шестнадцати лет и дальше не употреблять никаких крепких напитков, кроме молока, и вызывать...»

В самый разгар этой работы в кают-компанию вошел озабоченный, чем-то расстроенный Эрнест Кренкель. Возмутившись, что ребята не подпускают его к столу с разостланным полотнищем еще не законченной газеты, он свирепо накинулся на Решетникова, Погосова и Рыцк:

— Где моя статья? Почему ее нет?

— Как нет? — оробела Зина. — Должна быть...

— Где? — не отступался разгневанный автор. — Покажите!

Редколлегия переполошилась: слуханное ли дело — потеряли статью! Рылись, рылись в бумагах на столах — нету! А Кренкель продолжал бушевать.

Наконец Саша Погосов развел руками, виновато спросил:

— Как хоть она называется, твоя статья? О чем?

— А я откуда знаю? — пожал радист плечами. — Я же еще только собираюсь ее писать...

И по привычке ввернув «забористый» оборотец, Кренкель выскочил за дверь. А Федя Решетников и поэт Илья Сельвинский тут же решили разыграть в отместку его самого. И в стенгазете, на самом видном месте в числе других эпиграмм Сельвинского была помещена такая:

Эй, аптекарь, глуховат ты?  
Дай скорее в ухо ваты,  
Видишь — грозный, как утес,  
Входит Кренкель тароватый,  
Феерического мата  
Пиротехник-виртуоз!

Припомнили Кренкелю любовь к разного рода крепким выражениям...

Мюдовский вечер удался на славу. После доклада Виктора Гуревича начался большой самодеятельный концерт, в котором приняли участие все наши певцы, декламаторы и танцоры. Но наибольший успех пришелся на долю Феде Решетникова и Миши Ткача. Перед зрителями появился широкий и длинный, высотой в человеческий рост, рисунок художочной клячи, запряженной в телегу. На телеге сидит важный парень, рядом с телегой стоит дивчина, а там, где полагалось быть их лицам, зияют круглые отверстия. В эти отверстия Федя и Мишук просунули головы, и начался уморительный «Украинский лубок», сопровождавшийся гомерическим хохотом всех челюскинцев.

Дружно хлопали мы и музыкальному трио — младшему коку Морозову, кочегару Кожину и матросу Ломоносову, исполнившим на гитаре, балалайке и мандолине всеми любимые мелодии. А потом так же дружно подхватывали припев написанной Ильей Сельвинским «Песни Дзыги», которую хором пели автор, кинооператор Аркаша Шафран и неизменный участник почти всех номеров самодеятельности Федя Решетников:

Шли три матроса с буржуйскава плена,  
С буржуйскава плена — да и домой,  
И только вступили в Севастопольскую бухту,  
Как их испоразило грозой.

Сказал один матросик: «Мне нет больше мочи,  
Мне нету больше мочи так жить». —  
Заплакали горько их ка-а-рие очи:  
«Кадеты ж с нас веревки будут вить».

Сказал другой матросик: «Вить мы проиграли...  
Вить мы же проиграли войну!  
Советскую знамя варвары растоптали,  
И Май-Борода нынче сам в плену».

Сказал третий матросик: «Мы исчо вернемся,  
Ах, мы исчо вернемся, хлоп им в лоб!  
Оставим с вашей суши от пупа уши,  
Наскрозь перекопаем Перекоп!»

До поздней ночи царило в кают-компании веселье, гремели аплодисменты и смех. А корабельный лаг все отсчитывал и отсчитывал мили...

## К желанной цели

Непроглядный туман окутывал все вокруг. В тумане тревожно и глухо звучали гудки невидимых пароходов. Мы шли самым малым, и, стоя в руле, я едва успевал выполнять приказание капитана, на слух ориентировавшегося по этим чужим гудкам.

Наконец порыв ветра чуть всколыхнул молочную пелену, приподнял над водой, и неподалеку от нас обрисовались смутные очертания многочисленных кораблей.

— Отдать якорь! — слышалось с мостика. — Прямо руль, довольно в руле!

Распрямляя затекшие руки и плечи, я сбегал на спардек.

Мы стояли в проливе Вилькицкого, у мыса Челюскин, — у самой северной оконечности Евразийского материка. Дальше к северу лежат обследованные только год назад острова Северной Земли, а позади осталось Карское море. За всю историю арктического судоходства в этих широтах побывали только девять кораблей. Зато сегодня, 1 сентября 1933 года, тишину окрестных тундровых берегов спугнули мощным ревом своих металлических глоток восемь советских ледоколов и пароходов: «Красин», «Челюскин», «Седов», «Русанов», «Володарский», «Сибиряков», «Правда» и «Сталин». Восемь! Три из них, во главе с «Красиним», пойдут за сибирским лесом дальше, в устье Лены.

Весь день шныряли от парохода к пароходу шлюпки, катера и вельботы: моряки ездили друг к другу в гости. Съезжали и на берег, на полярную станцию, проведать гостеприимных здешних зимовщиков.

К вечеру, освободившись от вахты, я по штурмтрапу тоже спустился в наш вельбот. Там уже сидели Шмидт, помполит Бобров, подрывник Гордеев, повар Морозов и кинооператор Трояновский. Моторист Иванов запустил мотор, и вельбот, ныряя с волны на волну, помчался в опять сгустившемся тумане. Плясали, захлестывая брызгами, гривастые волны. Держа вразрез им, я вел суденышко по компасу к полярной станции. Впереди из тумана возникло какое-то белое пятно. Подойдя ближе, мы разглядели огромную стамуху — льдину, сидящую на мели. Миновав ее, вскоре пришвартовались к обрыву берегового припая.

Бревенчатый дом с мачтами радиоантенны, в стороне от него два деревянных сарая и несколько будок для собак — такой мы увидели полярную станцию, всего лишь год назад построенную на мысе Челюскин. Серые строения ее возвышались над плоским берегом, усеянным плитками сланца. Стены дома почти сплошь покрывали распяленные для просушки шкуры медведей и нерп. Шкуры сушились и на горизонтальных вешалах из жердей высоко над землей.

Удивительно, до чего много здесь оказалось собак: лохматые, большие, ушастые, они вертелись под ногами.

— Зачем вам столько? — спросил я у одного из хозяев зимовки.

— Как зачем? Помощники наши. В пургу в любой мороз в упряжке работают — лучше не надо. И на промысле зверя без них не обойдешься.

Добрим словом отозвался о собаках и начальник этой первой, а значит и самой трудной, зимовки на мысе Челюскин врач Георгиевский.

— Весной было дело, — рассказывал он. — Пошел я на берег измерять температуру морской воды, а темные очки надеть забыл. Измерил, иду назад — и вдруг ничего не вижу: от солнца и от блеска снега ослеп. Ну, думаю, не беда, ведь до станции рукой подать. Но сколько ни бродил, ни искал дом, так и не нашел. Надо бы остановиться да покричать, позвать товарищей, а я не догадался. Иду и иду, и все ожидаю, когда же на дом наткнусь... Двое суток бродил, из сил выбился. Потом и совсем свалился, сознание потерял. Хорошо, что собаки нашли и ребят ко мне привели, иначе не сидеть бы сейчас с вами...

Подобных историй о трудных полярных буднях мы услышали много, а жалоб на эти трудности — ни одной. Мужественные люди штурмуют Север.

Их десять на мысе Челюскин, прибывших в прошлом году на ледоколе «Русанов». Полярная станция необходима для развития судоходства по Северному морскому пути: зимовщики следят за состоянием льдов в проливе Вилькицкого, соединяющем запад и восток Арктики, ведут метеорологические наблюдения и поддерживают постоянную радиосвязь между Архангельском и поселком Уэллен на берегу Берингова пролива.

За несколько дней до нашего прихода «Русанов» доста-

вил сюда новые сборные дома, оборудование и смену зимовщиков. У этой станции очень большое будущее: со временем она станет центральной на всем протяжении Великого Северного морского пути.

А пока здесь главенствует первозданная тишина, нарушаемая редкими людскими голосами и лаем собак. И на сотни километров вокруг простирается насквозь промерзшее Заполярье...

Ко времени нашего возвращения на судно туман стал реже, и Отто Юльевич предложил сначала совершить небольшую прогулку по берегу. Пошли на запад, к самой северной оконечности мыса, находящейся в двух километрах от полярной станции. Место это примечательно тем, что здесь у самой воды на черном сланце высится огромная, диаметром метра в два, кварцевая глыба, похожая на припудренную пылью льдину. В нескольких метрах от нее — высоченный гурий, сложенный на века из больших сланцевых плит Амундсеном и его товарищами по экспедиции на корабле «Мод». Верхушка гурия увенчана металлическим шаром с выгравированной на нем надписью на норвежском языке:

**«Покорителям Северо-восточного пути  
Адольфу-Эрику НОРДЕНШЕЛЬДУ и его  
славным спутникам. Экспедиция  
на «Мод» (1918—1919)».**

Так великий норвежец увековечил память о подвиге великого шведа. И было у меня в ту минуту такое ощущение, словно оба они присутствуют здесь, на пустынном берегу, возле этого символа мужества, стойкости и отваги, вручая эстафету дальнейших подвигов нам, участникам экспедиции на «Челюскине»...

— Уже поздно, товарищи, — нарушил молчание Отто Юльевич, — пора возвращаться. Завтра и нам двигаться дальше...

Рано утром «Челюскин», распрощавшись с караваном «Красина», двинулся на восток, в третье, после выхода из Мурманска, море — в море Лаптевых. Оно оказалось совершенно свободным ото льдов, зато здесь бушевал такой бешеный шторм, в какие нашему кораблю еще ни разу не приходилось попадать. С кормовой палубы гигантские волны смыли больше ста тонн хранившегося там угля, смыли начисто,



до последней пылинки, а мы лишь яростно сжимали кулаки, не в силах предотвратить эту беду. Да и как предотвратить, как помешать разбушевавшейся стихии, если и сам в любую секунду можешь стать пылинкой, беспомощной игрушкой воды?.. Даже в каютах все, что не было закреплено — чемоданы, чернильницы, обувь, — выплясывало немыслимый, сумасшедший хоровод, а черная стрелка барометра в штурманской рубке продолжала медленно, но неуклонно приближаться к критической черте, обозначенной угрожающим словом: «Ураган».

На судне как вымерло: все, кроме вахтенных, отсиживались и отлеживались в каютах. Непривычно пусто было и в кают-компании и в столовой команды во время завтрака и обеда: от еды воротило напрочь. Ни в домино или в шахматы не сыграть, ни поболтать, дымя папиросой, на диване в ленинской каюте. Научным работникам тоже при-

шло на время шторма свернуть работы: на палубу не вый-  
дешь...

Тяжелее всех доставалось женщинам. Отто Юльевич не раз подчеркивал, что Арктику надо завоевывать и осваивать по-настоящему, прочно, и был горячим сторонником «семейного» ее обживания. Поэтому и ехали с нами на далекий остров Врангеля муж и жена Буйко с двухлетней дочуркой Аллочкой, супруги Комовы, Рыцк, Белопольские-Сушкины и семья Васильевых с нашей общей любимицей — крошечной Кариной. Дети не чувствовали шторма: не все ли равно, в люльке раскачивают или качается с борта на борт весь огромный пароход. Взрослые же пассажиры, непривычные к морской непогоде, не могли ни с койки подняться, ни есть, ни пить.

Только метеоролог Ольга Николаевна Комова продолжала держаться, как заправский моряк. Стройная, крепенькая, в красном платочке на темноволосой голове, она всегда в точно назначенные часы неизменно появлялась на главном ходовом мостике корабля возле будки с метеорологическими приборами, после чего на стол радиорубки ложился листок очередной метеосводки. А с пяти до шести часов вечера добровольного судового библиотекаря Комову всегда можно было найти на дежурстве возле книжных шкафов в ленинской каюте. Глядя на Ольгу Николаевну, и ребята старались держаться крепче, не поддаваться изнуряющей морской болезни.

Казалось, только один человек на «Челюскине», Владимир Иванович Воронин, был откровенно доволен штормом и даже радовался необузданной, все растущей силе его. Он то расхаживал метровыми своими шагами из конца в конец мостика, то заглядывал на минутку в штурманскую рубку — бросит взгляд на барометр и время от времени бормочет что-то в мокрые от соленых брызг каштановые усы. Чуть согнув ноги в коленях, намертво вцепившись руками в рогульки штурвала и изо всех сил стараясь удерживать судно вразрез волны, я иногда улавливал обрывки отдельных фраз:

— Дает, а? Дает! Славно... Значит, и дальше будет чисто... Только бы ветер не утих: пройдем... Надо пройти, черт бы его побрал!.. Обязательно надо пройти!..

Я разделял и тревоги и откровенную радость Воронина: вечный враг моряков — шторм становился нашим союзником



и даже помощником в трудном арктическом походе. Яростной силой своей он взламывал и гнал прочь от берегов еще более страшного врага — льды, освобождая и очищая от них путь на восток. Сентябрь на Севере — это уже зима, и чем позднее вступит она в свои права, тем быстрее и легче выскочим мы из ее ледяных лап.

Но всему приходит конец. Пришел конец и шторму: на подступах к Новосибирским островам море опять стало спокойным, а над переносицей капитана начали все туже, все озабоченнее сходить в узел кустистые брови. Зато судно разом ожило — захлопали двери кают, зазвучали радостные людские голоса. Вместе со всеми захопотали и ученые, стремившиеся наверстать упущенное в штормовые дни и ночи драгоценное время.

Ученым хватало работы, им первым везло — открытия ожидали буквально на каждом шагу.

Аэролог Шпаковский, обосновавшийся со своим имуществом в специально для него сооруженной на корме дощатой будке, три раза в сутки наполнял водородом резиновые шары

и, прикрепив к ним воздушный зонд системы Молчанова, запускал в голубую высь для исследования верхних слоев арктической атмосферы.

В превращенной в лабораторию каюте химика Лобзы с утра до ночи шумел примус и звенела стеклянная посуда: не описать, сколько нового давало науке изучение химического состава льдов и воды пройденных «Челюскиным» морей.

Физик Факидов редко вылезал из трюмов, «колдуя» там над точнейшими приборами, регистрирующими состояние корпуса судна в различных условиях и режимах арктического плавания. Наблюдения его должны были сослужить немалую службу строителям будущих морских кораблей.

Гаккель и Хмызников заполняли страницы походных дневников колонками цифр и подробными записями о впервые измеренных морских глубинах, впервые обнаруженных подводных течениях, о составе и характере донного грунта. Ведь капитанам, которые поведут здесь свои корабли, все эти сведения будут указывать самые безопасные и надежные пути!

Гидробиолог Ширшов мог не заметить медведя на льдине, но уж наверняка не пропускал ни одного самого крошечного представителя многоголикого семейства планктона, выловленного из морских глубин.

— По этим «морским блохам», как вы их называете, — охотно говорил он нам, — можно почти безошибочно определить запасы рыбы в любом морском бассейне. Рыба питается планктоном, и чем его больше, тем больше рыбы. А количество рыбы прямо пропорционально количеству морского зверя, моржей и тюленей. Улавливаете? Будущим зимовщикам все это не раз пригодится.

Не теряли попусту времени и писатели и корреспонденты. Поэт Илья Сельвинский работал над пьесой. Ленинградский прозаик Сергей Семенов с головой ушел в создание романа о покорителях Арктики. Корреспондент «Известий» Борис Громов попутно с правкой рукописи о прошлогоднем походе «Сибирякова», участником которого он был, собирал материалы о нашей экспедиции и приводил в отчаяние корабельных радистов, заваливая их корреспонденциями в адрес своей газеты. Кренкель терпел, терпел эту, как он говорил, «напасть», а потом не выдержал, пошептался о чем-то



с Сельвинским и Федей Решетниковым, и кончился этот тайный сговор тем, что в очередном номере стенной газеты появилась насмешливая всех карикатура и понравившаяся всем подпись под ней:

Да, тяжело свой облик в бронзе высечь,  
Сему способствует не без«Известный» рок:  
Борис в каюте сеет десять тысяч,  
А вот в газете всходит... десять строк...

Громов увидел творение поэта и художника, посмеялся вместе со всеми и... увеличил ежедневную порцию радиокорреспонденций.

Частенько доставалось в стенгазете и любителям «забить козла». В свободное от работы и вахт время, особенно по вечерам, эбонитовые костяшки домино напропалую гремели и в кают-компани, и в красном уголке команды, и даже в каюте Отто Юльевича, где вокруг маленького столика собиралась неизменная четверка: Шмидт, Бабушкин, Семенов и Громов. Мог ли Илья Сельвинский остаться равнодушным к столь благодатной теме? Мог ли и Федя Решетников, остро подмечавший все комическое, пройти мимо нее? Конечно, нет! И «козлиные баталии» были по достоинству оценены в стенгазете:

Пройдет сезон, и Отто гордо  
Предъявит миру два рекорда:  
Пять тысяч двести восемнадцать  
Сплошных челюскинских узла  
И семь миллионов триста двадцать  
Четыре партии в «козла».

Только на время сильного шторма в море Лаптевых при-  
тихла, замерла вся эта кипучая корабельная жизнь. А окон-  
чилась непогода, и опять — живем, все нормально!

О приближении к проливу Санникова в архипелаге Но-  
восибирских островов, где до нас еще не бывал никто, ка-  
питан Воронин догадался по резкому уменьшению морских  
глубин, отмеченному эхолотом. Произошло это уже темной  
ночью и так внезапно, что Владимир Иванович, не желая  
рисковать, приказал остановить машину и отдать якорь.

— Леший знает, куда прем, — выругался он. — Выско-  
чим на мель — кричи потом «караул»!

А утром, когда рассвело, перед нашими глазами в какой-  
нибудь миле впереди судна открылся приземистый, низкий  
остров с пологими песчаными берегами.

— Могли влипнуть! — крикнул штурман Марков. — Еще  
минут десять хода в темноте, и никакой «караул!» не по-  
мог бы...

Сверившись по карте, он определил:

— Остров Бельковского. Вход в пролив Санникова дол-  
жен быть правее.

Повернув на юг, «Челюскин» обогнул неожиданную пре-  
граду, медленно, на ощупь миновал остров Котельный и  
еще медленнее, словно на цыпочках, вступил в совершенно  
неисследованный пролив. Под килем корабля, судя по по-  
казаниям самописца эхолота, оставались считанные метры  
воды, зато впереди, насколько хватал глаз, расстилалась чистая,  
с узким береговым припаем, без единой морщинки, мут-  
но-желтая гладь пролива.

И опять поразительная, без признака жизни, тишина на  
обоих рядом с нами берегах островов. Хоть бы нерпа всплес-  
нула на водной глади, хоть бы птица взметнулась! Ничего:  
все живое на долгие месяцы, до будущей весны, уже покину-  
ло море и берег...

Тем удивительнее показалось мне восклицание гидрогра-  
фа Хмызниковъ:

— Вот где дремлет страна непочатых богатств!

— Богатств? — не понял я. — Каких?

Ученый улыбнулся:

— А хотя бы залежей мамонтовых бивней. Чем не богат-  
ства? Море, год за годом размывая песчаные берега остро-  
вов, нередко открывает целые туши мамонтов, точно в склепе

сохранившиеся в вечной мерзлоте. Даже шерсть цела. А под-  
жаренное мясо по вкусу напоминает оленью.

— Вы пробовали?

— Конечно! И очень жалко, что у нас времени в обрез:  
уверен, что никто не отказался бы от бифштекса из мяса до-  
исторического гиганта. Разве можно его сравнить с медвежа-  
тиной?

— Значит, всего и богатства, что эти мамонты?

Хмызников покачал головой:

— Нет, почему же. Песцов очень много... Медведей... Ле-  
том в проливах и в прибрежных водах собираются стада тю-  
леней и моржей. Разве это не богатства? А если копнуть по-  
глубже, проникнуть в недра, найдутся, быть может, и камен-  
ный уголь, и кое-что еще...

— Да, но люди, люди... Живет тут кто-нибудь?

Ученый вздохнул:

— К сожалению, пока нет. Только зимой иногда приез-  
жают с материка по льду через пролив охотники за песцами.  
А постоянных жителей, хотя бы зимовщиков, как на мысе  
Челюскин, Новосибирским островам пока приходится  
ждать.

Он незаметно для себя сделал ударение, дважды повто-  
рил слово «пока», как бы подчеркивая свои невысказанные  
вслух мысли. И я понял, что и этим островам совсем недол-  
го осталось дожидаться настоящих и постоянных хозяев.  
Придут и сюда наши люди, обязательно придут, как пришли  
уже во многие недавно безлюдные и пустынные места.  
О них, упорно идущих на необжитый Север, чуть ли не каж-  
дый день сообщается в поступающих на «Челюскин» радио-  
граммах, адресованных начальнику Главсевморпути Отто  
Юльевичу Шмидту. В радиограммах-рапортах о том, как  
летчик Леваневский летал в ледовую разведку из бухты  
Тикси до острова Врангеля и на всем протяжении дальней-  
шего нашего пути обнаружил у берегов материка только  
чистую, без дрейфующих льдов воду... Как летчик Красин-  
ский летал с мыса Северного тоже на остров Врангеля и, не  
дождавшись нас, вывез с тамошней зимовки на материк  
шестерых взрослых зимовщиков и пятерых ребятишек... Как  
из устья Енисея в бухту Тикси на Лене впервые в истории  
арктического мореплавания прошли два речных парохода-  
колесника, обогнувшие мыс Челюскин...

Идут советские люди. Все дальше и все решительнее проникают на Север! А значит, обязательно придут следом за нами и на эти пока отрезанные от всего мира и славные лишь своими мамонтами Новосибирские острова!

Обо всем этом думалось в тот сентябрьский предзимний вечер, когда «Челюскин», миновав пролив Санникова, выбрался, наконец, в Восточно-Сибирское море. Прогноз Леваневского оказался недолговечным: стоило измениться направлению ветра, и все море впереди опять покрылось пригнанными с севера ледяными полями. С каждым часом они становились плотнее и крепче. И с каждым оборотом корабельного винта все реже встречались так необходимые нам разводья...

— Лучше бы самый лютый шторм, чем такая ледяная прорва, — угрюмо ворчал капитан Воронин, после выхода из пролива ни на минуту не покидавший мостик. — Не ровен час мороз ударит...

Его озабоченность и беспокойство были понятны всем: двигаемся еле-еле, по три, по четыре мили за вахту, а впереди еще сотни миль до Берингова пролива. Стоит ударить ранним морозам, сковать битые льды, и тогда никакая сила не вырвет судно из многомесячной мертвой хватки.

Вот почему шли мы и ночью, когда с носа судна, вспарывая темноту, лился широкий прожекторный луч. Шли, несмотря на усталость измотанных трудным плаванием людей, несмотря на то, что в битвах со льдом пароход успел получить немало повреждений. Стальная обшивка в районе форштевня от ударов о льдины превратилась в решето, и помпы не успевали откачивать воду из носового отсека — форпика. Пришлось забить его до отказа дровяными плахами и наглухо задрать, зацементировать горловину отсека. Пришлось и новые крепления из бревен ставить к шпангоутам и обшивке корпуса в носовом трюме, едва выдерживавшим натиск плавучих льдов. Только с пробойной в правом борту, всего лишь в нескольких сантиметрах выше ватерлинии, мы ничего не могли поделать. И не было у нас ни сил, ни средств, а главное — не было времени заменить одну из лопастей гребного винта, верхушку которой точно бритвой срезало ударом о льдину...

Ну что ж, даже так надо идти вперед и вперед: ведь назад уже не повернуть... И о зимовке думать нельзя: зази-

мовать — значит потерпеть поражение. Остается одно: хоть на милю, на кабельтов, хоть на несколько считанных метров за вахту, но только вперед!

11 сентября «Челюскин» был уже на траверзе устья реки Колымы, недалеко от острова Четырехстолбового, куда корабли колымской экспедиции в том же году доставили из Владивостока большую полярную станцию. На следующий день вышел к черному мысу Шелагского, гранитным монументом встающему из белых равнин Чаунской тундры. А миновав Чаунскую губу, двинулся на восток вдоль берегов Чукотского полуострова, за которым лежал столь желанный и необходимый нам Берингов пролив.

Далеко позади остались Мурманск и Баренцево море, море Карское и мыс Челюскин, море Лаптевых и Восточно-Сибирское. Несколько тысяч миль труднейшего пути пролегли за кормой. Перед нами — последний этап, Чукотское море. Еще несколько сотен миль — и победа!

Но пройдем ли? Льды и льды кругом. Давно миновали дни, когда «Челюскин» за четырехчасовую вахту делал по тридцать, по сорок миль. В здешних чудовищных льдах даже пять-шесть миль за вахту казалось чудом. А нередко бывало, что итог целых суток непрестанной борьбы выражался в вахтенном журнале одной, полной горького трагизма строкой: «В ожидании перемены ветра и разводьев стоим во льдах...»

Зато какое ликование вызывали случайные коридоры чистой воды, неожиданно открывавшиеся по нужному курсу! Полным ходом мчался тогда корабль, сопровождаемый шипением и звоном молодого ледка, и счастливейший человек на судне — вахтенный штурман — спешил записать в журнал: «До Берингова пролива осталось четыреста миль!»

В один из таких дней с мачты, из наблюдательной бочки, раздался простуженный голос старшего помощника капитана Сергея Васильевича Гудина:

— Справа по борту вижу три корабля!

С ними тотчас установили радиосвязь и выяснили, что это пароходы «Север», «Хабаровск» и «Анадырь», из-за тяжелого ледового режима отставшие от основного каравана возвращавшейся во Владивосток колымской экспедиции. В это время моряки перегружали уголь с «Севера» на два остальных судна, но, узнав о нашем приближении, прекратили перегрузку и двинулись следом за «Челюскиным». Го-

ловным шел «Хабаровск», за ним «Анадырь», а замыкающим плелся сильно потрепанный в рейсе «Север».

Мы, конечно, знали, что они ничем не могут помочь нам. «Анадырь» и «Север» провели прошлую зиму во льдах, нуждались в ремонте, да и команды их были измотаны затянувшимся плаванием. А самый крепкий из них, «Хабаровск», не ледокол: неизвестно, удастся ли хоть ему выбраться на чистую воду. И все же, когда силуэты кораблей стали все отчетливее вырисовываться на снежно-белом горизонте, и у нас прибавилось сил, и мы поверили в близкое окончание испытаний: вчетвером одолеем льды, обязательно одолеем!

Но надежда померкла, потом и вовсе угасла, когда с «Севера» поступило тревожное сообщение о большой льдине, застрявшей между лопастями его винта. Судно сразу лишилось хода, стало беспомощным и неповоротливым. «Анадырь» и «Хабаровск» отказались бросить товарища на произвол судьбы...

Трогательно и мужественно звучала их последняя радиogramма, принятая Кренкеlem:

«Прекращаем продвижение за вами. Возвращаемся на помощь пароходу «Север». Искренне желаем вам скорейшего выхода в Берингов пролив, большевистского выполнения задания партии и правительства».

Да, товарищи остаются. Им почти наверняка предстоит еще одна зимовка во льдах. А мы ничем, решительно ничем не в силах им помочь...

Скоро и корабли и дым из их труб исчезли за горизонтом. «Челюскин» опять — в который уже раз! — остался один. Только справа по борту, милях в пяти от судна, медленно-медленно уходили назад однообразные, уже покрытые снегом пологие берега Чукотки да время от времени у самой кромки оледенелого моря виднелись на берегу приземистые, издали похожие на копны перепрелого сена домики из шкур — яранги местных жителей — чукчей.

Недалеко от мыса Якон мы вышли в большую полынью и стали на якорь: с мыса Северного для встречи со Шмидтом должен был прилететь на своем Н-4 летчик Красинский. Он не заставил себя долго ожидать, и через полчаса большая трехмоторная птица, низко над судном описав два круга, плавно опустилась на воду. А еще час спустя в кабину

самолета поднялись Отто Юльевич, летчики Красинский и Куканов, начальник будущей зимовки Петя Буйко и заместитель начальника экспедиции по хозяйственной части Ваня Копусов, решившие навеститься на остров Врангеля, куда «Челюскину» предстояло зайти.

Вынужденной стоянкой судна захотел воспользоваться и капитан Воронин, чтобы слетать на «шаврушке» в ледовую разведку. Не прошло и десяти минут, как легонькая амфибия с капитаном и летчиком Бабушкиным в кабинах была спущена на воду. Оглушительно застрекотав отнюдь не мощным своим мотором, она плавно взмыла в воздух и быстро исчезла из виду. А тяжелый, громоздкий Н-4 все еще не мог оторваться от воды. Снова и снова разбегался он для взлета, поднимая фонтаны пены и брызг, и к концу разбега, у бровки полыньи, опять и опять глушил моторы. Наконец с самолета просигналили подать шлюпку и под веселый смех и шуточки ребят сгрузили в нее не только балласт, но и злющего, красного от досады Ваню Копусова. Лишь после этого облегченный гигант с грехом пополам оторвал поплавок от воды и, натужно гудя, пошел в высоту.

Шлюпка с Копусовым неторопливо приближалась к борту судна, к штуртрапу. Разве можно было упустить такой замечательный для розыгрыша случай?! И едва над фальшбортом показалось все еще красное лицо неудачливого воздушного пассажира, как к нему с распростертыми объятиями бросился Эрнест Кренкель:

— Ванечка, дорогой, сколько лет, сколько зим! Рассказывай, как леталось? Что новенького на Врангеле?

— Иди к чертям! — буркнул Копусов, заранее зная, что розыгрыша ему не избежать. — Сами позвали, а потом вместе с балластом высадили.

— Да что ты? — с небывалой участливостью удивился радист. — Неужели высадили? Ай-яй-яй...

Шутку следовало довести до конца, и, как всегда, это сделал Федя Решетников. Вечером в кают-компании уже висела карикатура, изображавшая Шмидта и Красинского, на тоненькой веревочке спускающих из самолета в шлюпку длинноногого, тощего Ивана Копусова. И веселее всех хохотал над ней сам неудачливый воздушный пассажир...

Первой вернулась из разведки наша «шаврушка». Капитан поднялся на борт мрачнее тучи.

— Леды и льды. Ни просвета, сам черт ногу сломит!

Отто Юльевич высказался еще короче:

— Обстановка крайне тяжелая.

И совсем коротко определил ледовый режим в Чукотском море Петя Буйко:

— Гроб!

А каков он, этот режим, мы увидели в тот же день, когда «Челюскин» тронулся в дальнейший путь.

Даже не верилось, что судно находится в открытом море, а не выброшено в центр безбрежной с нагромождениями голубых скал равнины, укрытой слоем пушистого снега. О разводьях нечего было и мечтать: непрерывно дующие с севера ветры спрессовали ледяные поля. Только изредка удавалось обнаружить редкие, припорошенные снежком трещины — к ним и пробирался «Челюскин». Но что толку, если трещину не удавалось раздвинуть и приходилось часами ждать, пока непрекращающийся дрейф хоть чуточку расширит ее...

И все же «Челюскин» двигался — медленно, едва заметно, больше со всей массой дрейфующих льдов, чем собственным ходом, но все-таки в нужном направлении. И 16 сентября, перевалив 180-й меридиан, мы перешли в восточное полушарие Земли, в пролив Де-Лонга.

Слева, почти перпендикулярно компасному курсу, был теперь остров Врангеля, отделенный от нас семьюдесятью милями сплошных, по данным воздушной разведки, многолетних льдов. Пробриться к острову не было никакой возможности, и командование экспедиции решило идти к мысу Северному на Чукотке, где находилась самая большая в восточном секторе Арктики полярная станция Главсевморпути, а оттуда двигаться к Берингову проливу.

— Теперь это наша главная задача, — сказал на общем собрании Отто Юльевич, делясь впечатлениями о своем полете на остров Врангеля. — Только закончив переход по всему Северному морскому пути, мы получим право думать о дальнейшем. Каковы же конечные перспективы экспедиции?

Шмидт, как всегда, очень точно формулировал волновавшие всех вопросы и старался с исчерпывающей ясностью отвечать на них. Он не терпел недомолвок, порождающих сомнения и кривотолки, и совершенно справедливо считал,

что самая горькая правда в походных условиях целесообразнее самой красивой полуправды, а тем более сглаживающей острые углы фантазии. Вот почему, решив посвятить участки экспедиции во все особенности сложившейся обстановки, профессор сказал так:

— После полета к острову Врангеля мы с товарищем Красинским совершили воздушный бросок далеко к востоку, до самой банки Геральд. И представьте себе, там навигационный режим оказался совершенно иным, чем здесь: от Геральда до Врангеля нет ни одной льдины! Таким образом, из Берингова пролива до самого острова можно пройти по чистой воде. Что же следует делать нам? Мы с Владимиром Ивановичем обсудили этот вопрос и приняли такое решение: «Челюскин» продолжает поход к Берингову проливу, к Уэллену. В Уэллене высаживаем на берег всех, кому не обязательно участвовать в дальнейшем плавании на север. В том числе высадим и часть команды, до минимума сократив экипаж и экспедиционный состав корабля. Смена зимовщиков для острова Врангеля, разумеется, остается. С нею и пойдем к острову: с восточной стороны, со стороны банки Геральд, и постараемся высадить на остров группу товарища Буйко как можно быстрее, чтобы льды не успели захватить судно. Таковы ближайшие планы. А удастся ли выполнить их, выяснится опять-таки в самые ближайшие дни...

— Отто Юльевич, — спросила корабельная буфетчица Нюра Рудас, — а что будет с теми, кого высадят в Уэллене? Ждать вас, или так и останемся жить в поселке до будущей весны?

— Нет, зачем же. — Шмидт улыбнулся. — Даже в том случае, если «Челюскин» не сможет после зайти в Уэллен снова, зимовать на Чукотке никому не придется. Специально за вами вскоре же после высадки обязательно придет судно или из бухты Провидения, или из Владивостока. Обязательно придет! Но выяснится все это, повторяю, только в ближайшие дни.

Вскоре мыс Северный остался позади. Как мы узнали, «Хабаровск», «Север» и Анадырь» вырвались из ледяной ловушки, добрались до чистой воды у чукотских берегов и благополучно проскочили в Берингов пролив. Казалось, еще день-два, и мы тоже выйдем на чистую воду...

Но Чукотское море недаром считается самым каверзным

из-за частых и быстротечных изменений ледовой обстановки. Оно старалось оправдать недобрую свою славу и на этот раз. «Хабаровск», «Север» и «Анадырь» проскочили, а мы...

Все сильнее становились морозы, быстро сковывавшие поверхность воды в редких трещинах и полыньях... Все плотнее спрессовывались многолетние льды под нажимом непрекращающихся северных ветров... И все меньше оставалось у нас надежды вырваться из проклятой ледяной западни...

Ничего утешительного не было и в сообщениях, поступавших по радио с береговых полярных станций и с судов, находившихся дальше нас к востоку. Ледорез «Литке» радировал о тяжелых льдах в районе Колючинской губы, из которых он едва успел выбраться, оставив неподалеку от мыса Джинретлен пароходы «Лейтенант Шмидт» и «Свердловск». По донесению летчика Красинского, опять летавшего на разведку, ледяные поля начинали скапливаться и у восточных берегов острова Врангеля, постепенно сползая к югу, к Берингову проливу. В общем, как ни верти, положение — хуже не придумаешь...

Морякам ничего: в море бывает всякое, не привыкать, а строители-плотники чувствовали себя неважно. Шли на «Челюскин» уверенные, что тою же осенью вернутся домой, и вдруг оказались у черта на куличках, за тысячи километров от родных деревень! Даже если доберемся до берега, все равно раньше весны дома им не бывать. Поневоле задумаешься, поскучнееешь, когда на сердце кошки скребут.

Степа Фетин созвал в мою каюту ребят.

— Разговор накоротке, — предупредил он, — давайте подумаем, как у строителей настроение поднять. То, бывало, песни каждый вечер горланят у себя в твиндеке, а теперь слова не выжмешь. Приуныли хлопцы, надо их поддержать, ободрить.

— Детский садик, может, организуем? — ухмыльнулся Герман Ермилов. — В «ладушки-ладушки» с ними сыграем?

Вася Громов шлепнул его по затылку:

— Заткнись! Худо ребятам, понял? Степа прав, надо помочь.

— Надо им какое-нибудь занятие придумать, — предложил Саша Погосов. — Мы то здесь, то в других каютах собираемся, зубы скалим, хохочем до полуночи. А они одни и одни. Поневоле всякие страхи в башку лезут.



— Можно в кают-компании собираться, — предложил Федя Решетников.

— Не выйдет, — с сомнением покачал Погосов головой, — там и так каждый вечер полным-полно. И в красном уголке тесновато.

— А если прямо в жилом коридоре? — вставил Валя Паршинский. — Просторно там, да и мешать никому не будем. Получится у нас что-то вроде комсомольского клуба. Чем плохо?

Эта мысль всем пришла по душе, и в тот же вечер обычно пустой и тихий жилой коридор команды гремел от хохота и веселых голосов. Пришли не только строители, но и многие научные работники, и Сельвинский, и суховатосдержанный Сергей Семенов. Наши ребята были горазды на выдумки. Нашлись и певцы, и акробаты, и борцы всех весовых категорий. Как из рога изобилия, сыпались истории,

одна забавнее другой. И получилось так, что вечер пролетел совсем незаметно.

Только старпом Гудин общее веселье чуть было не испортил. Пришел, постоял, послушал, а потом отозвал Степу Фетина в сторонку:

— Не пойму, с чего такой тарарам? Будто и нечему радоваться-то, во льдах стоим...

Но Степан вежливо взял его под руку и увел в коридор комсостава:

— Отдыхайте, Сергей Васильевич. Вопрос согласован: с того и тарарам, что стоим во льдах.

Понял, нет ли старпом, с кем «согласован» вопрос, не знаю, но больше не мешал. Замечательным был он моряком, а все же от начальства старался держаться подальше. Вдруг да с самим Шмидтом «согласовали» ребята этакий кавардак? Поди потом объясняйся...

После того как все разошлись по каютам, меня внезапно вызвали к Шмидту. Вызов был настолько неожиданным, что стало не по себе: не провинился ли в чем? Но в просторной каюте Отто Юльевича уже собрались Решетников, Фетин, Погосов, секретарь партийной ячейки Задоров, председатель судкома Румянцев, и я понял, что вагоня не будет. Наоборот, начальник экспедиции казался веселым и довольным.

— Вы придумали очень хорошее дело, товарищи. Прощу и впредь устраивать такие вечера. Но одних вечеров мало. Надо, чтобы в сложной нашей обстановке люди чувствовали себя как можно спокойнее, увереннее и бодрее. Согласны?

— Вполне, — за всех ответил Володя Задоров.

— У каждого человека есть свой собственный праздник, — продолжал Шмидт, — который он отмечает каждый год: день рождения. Почему бы и здесь, на судне, не праздновать? Так, чтобы было и весело и виновнику торжества приятно. Не обязательно всем экипажем: я не сторонник чрезмерного многолюдья. Но я за то, чтобы в такие дни собирался узкий круг друзей: поздравить своего товарища, пожелать ему бодрости и счастья. А для большего веселья, — Отто Юльевич прищурился, — обещаю упрямить товарища Могилевича отпускать каждому, у кого день рождения, по две бутылки сухого вина. Только чур! — профессор поднял

руку. — Договоримся сразу: день рождения должен быть... не чаще одного раза в месяц!

Иначе отнесся к нашей затее капитан Воронин. Он не осуждал ее, но и не одобрял. Только ночью, когда я стоял палубную вахту, Воронин, в который раз поднявшись на мостик, сказал так, будто вспомнил о чем-то далеком и постороннем:

— У кого голова от забот трещит, а кто себя и других готов день-деньской тешить. Вот уж выбрались бы, так тогда бы...

И, не закончив, ушел к себе, оглушительно хлопнув дверью.

Как по-разному, с совершенно различных точек зрения относятся к одному и тому же эти люди! Трудно нам? Да. Но Шмидт ищет пути и использует любые возможности, чтобы поднять дух экипажа, сплотить его для борьбы с трудностями. Он готовит людей к испытаниям, к бою, зная, что только люди, только сплоченный и спаянный единым стремлением коллектив способен одержать победу. А Владимир Иванович хочет все, решительно все взять на себя и, угодно это или не угодно людям, вести их за собой. Кто же из них прав? Я люблю Воронина и давно знаю его. Но я знаю и то, что даже у таких, как он, необыкновенных капитанов бывают и ошибки и промахи. А поэтому я с настороженностью отношусь к любимому человеку: у Воронина на первом месте только приказ; Шмидт же всегда вместе с людьми, вдохновляет, ведет людей, и в этом его огромная, непреоборимая и побеждающая сила. Я мало знаю, но глубоко уважаю Шмидта. И, любя, как моряк, капитана, я душою, как человек, на стороне начальника экспедиции: подчиняюсь Воронину, верю Шмидту...

...Кое-как преодолев еще несколько ледяных перемычек, мы выбрались в большую полынью. Спустили на воду безотказную «шаврушку», и Бабушкин с Ворониным поднялись в воздух. А вернулись, взяли самолет на борт судна — и сразу полный вперед: впереди, всего лишь в семи-восьми милях от нас, расстилается чистое ото льдов море!

Меня ходы, «Челюскин» снова и снова шел в атаку на лед. Чтобы помочь ему, мы спустили на лед железные банки с аммоналом и связки кирпичей для груза. Подрывники во главе с Васей Гордеевым принялись за работу: долбили лун-

ки, опускали взрывчатку, и перед носом судна, как на настоящем поле боя, загремела канонада. Но и из этого ничего не получилось: вместо трещин, которым, по всем правилам, полагалось бы избородить все поле, на фоне белого снега темнели только быстро смерзавшиеся, темные от копоти лужицы...

Ныли руки. Горели иссеченные ветром лица. От усталости гудели и подгибались ноги.

На душе было тоскливо и горько: даже с помощью взрывов «Челюскин» бессилен перед этой чертовой прорвой льдов...

— Не пробиться нам без ледокола, — хмуро сказал старший помощник Гудин, когда, прекратив бесполезные взрывы, мы поднимались на борт.

— А откуда ему тут взяться? — невесело усмехнулся самый могучий из нас — матрос Гриша Дурасов, которого еще в прошлом году товарищи по «Сибирякову» прозвали Полторы лошадиные силы.

— Мог бы «Литке» пробиться... — начал Вася Гордеев, но сверху, с палубы, перегнувшись через поручни, нам радостно закричал Геша Баранов:

— Ребята, дрейф! Сергей Васильевич, слышите? Дрейф!

— Какой дрейф? — не понял старпом.

— Попутный! Две мили в час! Прямо к проливу!

Миг — и усталости как не бывало! Скорее взобрались по зыбкому штурмтрапу на палубу, а оттуда — бегом на спардек, к лоту Томпсона. Здесь уже было много ребят, и каждый с затаенной радостью следил за тем, как виток за витком равномерно и непрерывно разматывается тросик с металлического барабана.

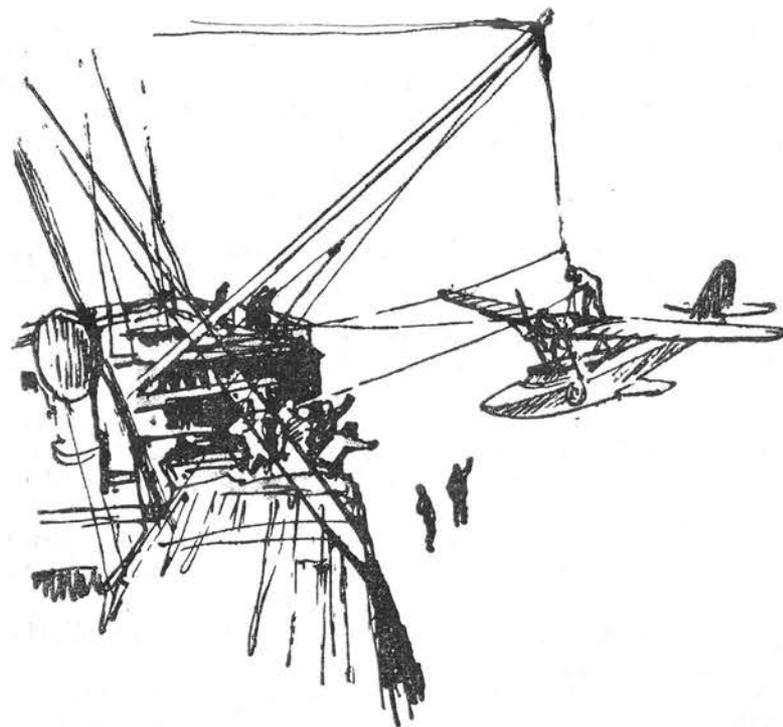
— Будто его кто силком на дно тянет, — с удивлением пробормотал Дурасов.

Витки складывались в метры. Метры — в кабельтовы. А кабельтовы — в мили...

— Как по нитке идем, — хохотнул Баранов, — чистый ост, и никаких тебе отклонений!

Ост, восток... А на востоке — Берингов пролив... Целых две мили в час, сорок восемь миль в сутки!

Да ведь если дрейф не утихнет, он всего лишь за троечетверо суток донесет корабль до желанной цели! И тогда —



конец всем испытаниям, победа: никакие льды ничего не смогут поделаться с нашим «Челюскиным»!

Только долго ли продержится дрейф?

Но об этом сейчас никто не думал.

## Слушай, Москва: прошли!

Тревожная вахта выдалась в ночь на 20 сентября. Укутавшись в бараний тулуп, я сидел на бочке с горючим на кормовой палубе и напряженно вслушивался в зловещий скрежет внизу, возле корпуса судна. Скрежет, треск, хрустящие удары ломающихся льдин слышались так, словно неве-

домый гигант буйно крушил во тьме весь ледовый покров Чукотского моря.

Чуть прикрытая тонкими облаками луна призрачно и расплывчато освещала окрестный мертвый ландшафт. Лишь правее впереди судна над призрачной этой пустыней вздымались неясные в лунном освещении контуры острова Колючина. И чем ближе подносило к нему «Челюскин» дрейфом, тем сильнее трещали льды вокруг парохода.

Приближение к острову и усиливающееся сжатие очень тревожило всех. То и дело хлопали двери на спардеке, и на палубу, посмотреть и послушать, что делается за бортом, выбегали наспех одетые люди. Выдержит ли судно чудовищный натиск льдин? Не сомнут ли они обшивку корпуса и не хлынут ли вместе с водой внутрь корабля? И наконец, пронесет ли нас дрейф хотя бы немного левее мрачного, молчаливого, неприступного Колючина или прижмет к скалам и уж тогда наверняка раздавит своим сокрушительным напором?.. Ведь состояние «Челюскина» и без того на грани критического. Под натиском льдов стонали его борта, все заметнее прогибались листы обшивки, трещали шпангоуты и, точно выстрелы, бухали вылетающие из пазов заклепки. В трюмы опять, как и в Карском море, начала просачиваться забортная вода, и корабельные насосы-донки почти беспрерывно откачивали ее.

Долго ли еще продержится пароход, или...

— Под кормой как? — оборвал мои мысли голос незадолго подошедшего капитана.

— Без изменений.

— Как руль?

— Пока цел. — Я перевесился через борт, глянул вниз, где переносная люстра освещала подзор кормы. — Все в порядке, Владимир Иванович.

— Сбегайте в машинное отделение, узнайте, успевают ли донки откачивать воду из трюмов.

— Есть узнать!

Быстро выполнив приказание, я бегом вернулся на свой пост, на корму, и опять взгляделся в ночной полумрак, пронизанный лунным светом. Показалось, будто темный силуэт острова приблизился за это время еще больше. Или так только показалось?

— Мимо, мимо несет! — вдруг в несколько голосов за-

кричали ребята на спардеке. — Стороной пронесит, мимо острова!

Но и им это могло только показаться при такой обманчивой видимости, где все выглядит и расплывчатым и неопределенным. И прошло еще не менее трех часов, пока мы, наконец, убедились, что «Челюскину» опять, в который уже раз, посчастливилось избежать почти неминуемой катастрофы.

К утру остров Колючин уже находился в шести милях у нас за кормой. Пронесло! Тиски ледового сжатия начали постепенно ослабевать, дрейф замедлился, а к полудню прекратился совсем. Пароход неподвижно, как на мертвом приколе, стоял в плену ледяных полей напротив входа в замерзшую Колючинскую бухту. А всего лишь в полтора миль севернее судна отступивший от берегов дрейфующий лед продолжал безостановочно двигаться к востоку!

Это произошло неожиданно и внезапно. Час назад мы боялись за корабль, ожидали, что дрейф вытолкнет его на колючинские скалы, изломает, сокрушит, потопит. И вдруг остров — вон он, за кормой, вокруг мертвая ледяная тишина, а дрейф, единственная наша надежда выбраться, — в полтора миль от судна, у черта на куличках!

— Из огня да в полымя, — невесело шутили ребята. — Угораздило влипнуть: ни вперед, ни назад.

Да, засели крепко... Уже наступила глубокая, суровая арктическая зима. За какие-нибудь сутки мороз скует раздробленные пока льдины в сплошной массив, превратит в береговой припай. А из него кораблю не выбраться до тепла, до самого будущего лета...

— Ладно бы подальше где прижало, не в этой «Колючей дыре», — хмуро ворчал боцман Загорский. — Вот уже действительно проклятущее место: недаром и в прошлом году на «Сибирякове» мы здесь больше всего беды нахлебались...

Я уже слышал о недоброй славе острова Колючина и Колючинской губы, прозванной моряками и полярными летчиками «Колючей дырой». Мощное течение, периодически втягивающее в глубокую бухту потоки морской воды, и частые, резкие перемены погоды создали всему этому району недобрую репутацию. Именно здесь свершились многие наиболее памятные арктические трагедии.

В 1878 году, например, направлявшийся, как и мы теперь, к Берингову проливу пароход шведского полярного исследо-

вателя Норденшельда «Вега» неожиданно попал тут в паковые льды и вынужден был остаться на зимовку. А в это время в нескольких десятках миль восточнее, в районе мыса Сердце-Камень, американские промышленники-зверобои продолжали бить китов на совершенно чистой, без единой льдинки, воде...

Летом 1930 года недалеко от берегового припая Колючинской губы опустился на воду гидросамолет полярного летчика Красинского «Советский Север», совершавший полет вдоль всего побережья Евразийского материка, от Берингова пролива до Белого моря. Утомленные летчики только было решили отдохнуть на удобной, спокойной стоянке, как вдруг внезапный ураганный шквал сорвал тяжелую машину с якорей, словно пушинку поднял на воздух и со всего размаха грохнул об лед! К счастью, участники экспедиции остались живы...

В том же году американская шхуна «Нанук» известного бизнесмена — торговца Свенсона тоже зазимовала среди льдов в этом же районе. Свенсон умел «торговать», а точнее — без зазрения совести обманывать и обирать охотников в прибрежных поселках, и на шхуне скопился богатейший груз драгоценных песцовых шкур. Чтобы успеть к открытию пушного сезона в Соединенные Штаты, владелец «Нанука» решил перебросить свою «добычу», шкурки, в Америку по воздуху и для этого заключил контракт на несколько самолетов, в том числе и машину знаменитого полярного летчика американца Эйельсона. Пролетая над Колючинской губой, Эйельсон попал в сильный шторм и бесследно исчез. Лишь много времени спустя остатки разбитого самолета и его мертвый экипаж разыскал в безлюдной тундре советский летчик Маврикий Слепнев, тогда же доставивший тела погибших американцев в США...

В 1931 году в сильном сжатии льда недалеко от побережья погибла советская шхуна «Чукотка». Покинув разрушенное судно, экипаж пешком добрался до зимовавшего в нескольких милях парохода «Колыма» и следующей весной благополучно вернулся на нем во Владивосток. А мощное течение, подхватившее полузатопленную «Чукотку», заволочло ее в самую глубину Колючинской губы...

Еще год спустя злосчастная «Колючая дыра» подстерегла и ледокол «Сибиряков», совершавший сквозное плавание по

Великому Северному морскому пути. Именно здесь, рядом с островом, он потерял в борьбе со льдами лопасти гребного винта. Правда, сибиряковцам удалось вырваться и закончить поход, но память об этом эпизоде сохранилась у них навсегда...

А вот теперь, на грани зимы, в тяжелую здешнюю западно попал и наш «Челюскин». В корпусе судна уже немало течей и пробоин, сорваны десятки заклепок, сломаны четыре шпангоута, погнуло перо руля, пострадал винт — на целую четверть обломана одна из лопастей. По чистой воде и то ему было бы двигаться трудно, а из ледяных тисков своими силами не вырваться ни за что. Единственная оставалась надежда: не подует ли с юга сильный ветер, не взломает ли, не прогонит ли от берегов ледяные поля? Но ни сила ветра, ни направление его от нас не зависели. А ветер, как нанятый, продолжал упорно дуть с севера, со стороны полюса...

Что оставалось делать? Смириться, склонить голову перед слепой стихией?

Нет! Что угодно, но только не сидеть сложа руки, не ждать — «а вдруг повезет»!

В тот же день все свободные от судовых работ и научных занятий члены экипажа превратились в подрывников. Взвалив на спины большие железные банки с аммоналом и тяжелые связки кирпичей, мы группами отправлялись за полторы мили от судна к кромке продолжавшей двигаться на восток «ледяной реки» и там принимались за непривычную работу. Сменяя друг друга, долбили ломами и пешнями сквозные лунки в толще льда и шестами заталкивали в них взрывчатку. Линию взрывов вели по прямой от кромки припая к пароходу, надеясь с их помощью пробить достаточной ширины канал для прохода судна. Но сколько ни взрывали, как ни выбивались из сил, а лед каким был, таким и оставался: ни намек на трещину...

Пришлось прекратить взрывные работы: ничего они не давали.

Дни стали уже коротки, зато ночи были по-зимнему долги и морозны. Вероятность зимовки, а значит, и невыполнения правительственного задания вплотную надвинулась на «Челюскин» и его экипаж.

Падало настроение... Таяли последние надежды на освобождение из ледяного плена... Все чаще возникали невеселые



разговоры о том, какую будет предстоящая зимовка... Мало хорошего сулила она полярникам и морякам: на судне женщины, дети, есть и больные, а до ближайшего крупного населенного пункта, до Уэллена, куда их лучше всего было бы перевести, от нашей стоянки без малого четыреста километров пешего пути по зимнему чукотскому бездорожью...

Вот почему на внеочередном собрании, созванном по распоряжению Отто Юльевича, мы не ожидали услышать что-либо обнадеживающее. Первые фразы начальника экспедиции, казалось, подтверждали это.

— Я пригласил вас для того, чтобы вместе обсудить положение, в котором по воле стихии оказался «Челюскин». Не секрет, что в коллективе начались толки о вероятности зимовки во льдах. Я лично в таких разговорах ничего предсудительного не усматриваю, но и не беру на себя смелость утверждать, что зимовки не будет. Не утверждает этого и самый опытный среди нас полярник, капитан Воронин. Не так ли, Владимир Иванович?

— Совершенно верно, — кивнул капитан.

— И не утверждаем мы потому, — продолжал профессор, — что в дальнейшей судьбе экспедиции на первый взгляд все будет зависеть от новых, не поддающихся предвидению случаев и случайностей. В Арктике их более чем достаточно: случайно нас принесло ледовым дрейфом сюда, случайно дрейф прекратился... Но совершенно случайно он может возобновиться и понесет судно дальше! В такой же мере может произойти и самое худшее: кораблю придется зимовать здесь. Что же из этого следует? Имеем ли право мы, советские люди, бессильно опустив руки, полагаться только на

волю слепого случая? Или наш долг — бороться до конца, до тех пор, пока есть силы и остается хоть малейшая надежда на успех?

— На какой? — негромко, с сомнением в голосе вставил старший помощник капитана Гудин. — Разве мы не пытались пробить канал для судна? Только зря взрывчатку расходовали...

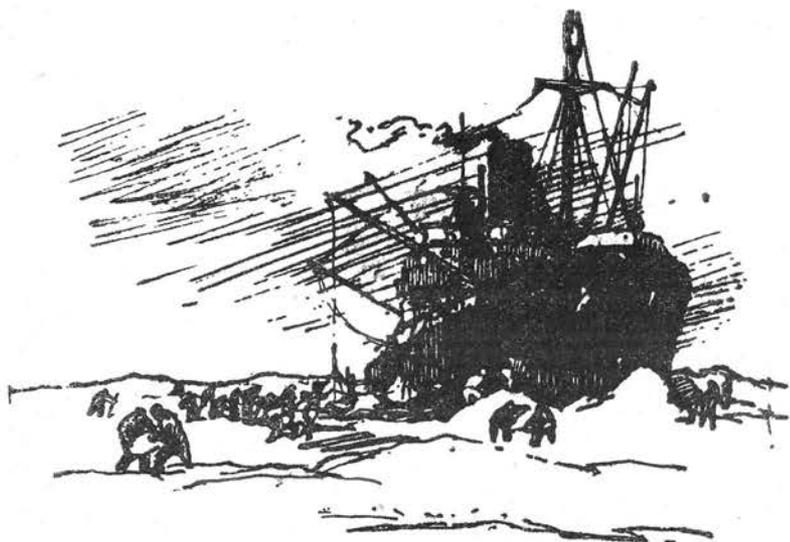
— Вы правы, Сергей Васильевич, взрывы неэффективны, — согласился Шмидт. — Но значит ли это, что нет смысла пытаться найти другие пути и средства для освобождения корабля? Мы с Владимиром Ивановичем придерживаемся иного мнения. Думаю, что и остальные товарищи, и вы в том числе, поддержите нас. Что, если вырубить вокруг судна весь лед, расчистить от него достаточной величины искусственную полынью и, развернув в ней «Челюскин» носом по направлению дрейфа, лишь после этого метр за метром прорубать канал к «ледяной реке»... Трудно? Очень! Я бы сказал — титаническая работа, товарищи! Но работа, а не надежда на случай, на авось, равносильная покорности злой судьбе. И другого выхода, кроме аврала, у нас с вами нет.

Он как бы подчеркнул это святое для всех нас слово «товарищи». Он обращался ко всем нам, как равный к равным, и все мы, все до единого, подхватили:

— Даешь аврал!

— Я знал, — чуть тронул белыми пальцами черную бороду Отто Юльевич, — что вы решите только так. А если и аврал не поможет... Ну что ж, мы останемся на зимовку: вместе шли к Берингову проливу, вместе будем и зимовать!

Весь остаток дня и весь долгий вечер экипаж судна готовился к предстоящей битве со льдом. Опять, как и в Карском море, разделились на две бригады, решив работать посменно. Запасались новыми брезентовыми рукавицами, ватными куртками, крепкой обувью. Машинисты ковали из кочегарских ломиков острые, как пики, пещни на деревянных рукоятках. Плотники сколачивали из толстых досок крепкие широкие сани. А утром, чуть свет, первая бригада уже приступила к выколке льда возле носа судна с левого борта и возле кормы с правого, чтобы потом вручную развернуть «Челюскин» почти на девяносто градусов, форштевнем по направлению к ближайшей от нас точке непрекращающегося ледо-



вого дрейфа. Незанятых в аврале осталось лишь несколько человек: для морских вахт на палубе и в машинном отделении корабля. Все остальные — на лед!

Лед пришлось дробить не только ломами и пешнями, но и взрывать небольшими зарядами аммонала: так дело двигалось быстрее. Ледовое крошево вылавливали из воды самодельными черпаками и, погрузив на сани, отвозили подальше от судна, за полосу предстоящей расчистки.

Трудная это оказалась работа — на пронизывающем ветру, на жгучем морозе, по колена в снегу. К концу смены едва хватало сил, чтобы взобраться по крутому трапу на палубу парохода, стянуть с себя насквозь промокшие одежду и обувь и, наскоро проглотив горячий обед, нырнуть в койку. Зато участок очищенной от льда воды вокруг корпуса корабля становился больше и больше, а где успех, там и силы находят как бы сами собой: в назначенное время все до единого «ледорубы» без напоминаний и сетований на усталость спешили на смену отработавшим свой срок товарищам.

Одно и печалило и приводило в ярость: северный ветер, как назло, не хотел изменять ни силу, ни направление и

с прежним постоянным упорством продолжал прижимать ледяные поля к пустынным берегам безлюдной Чукотки.

Безлюдным? Да, нам близлежащие берега полуострова казались лишенными признака человеческого жилища на многие мили вправо и влево. Откуда здесь взяты людям? Но как-то утром, в разгар работы, издали послышался многоголосый собачий лай, а следом за ним из морозной мглы появились и быстро подъехали две собачьи упряжки с каюрами-чукчами. Были они смуглы и широкоскулы, с черными, чуть раскосыми монгольскими глазами, в одежде и обуви из оленьих и нерпичьих шкур. Один каюр — настоящий гигант, широкоплечий и могучий, с непокрытой, несмотря на мороз, черноволосой головой, второй совсем маленький, щуплый, как подросток, только лицо его уже успели избородить морщины прожитых лет. Оба приветливые, улыбочивые, они крепко пожимали ребятам руки и что-то говорили, говорили наперебой, а что — не понять: ни один из них не знал ни слова по-русски.

Выручил Николай Николаевич Комов, старший метеоролог, в прошлом не раз зимовавший в здешних местах. Он заговорил с чукчами на их родном языке, и с его помощью разговор сразу стал и общим и чрезвычайно интересным.

Оказалось, что на берегу, в нескольких километрах от стоянки «Челюскина», находится небольшое чукотское стойбище, жители которого давно заметили в море черный дым, валивший из трубы нашего корабля. Убедившись, что судно застряло во льдах, чукчи решили навестить к нему и выяснить, не нуждаются ли моряки в их помощи. Решили вчера, сегодня чуть свет выехали — и вот они здесь, гости с Большой советской земли...

Трогательными были для нас и этот приезд и бескорыстное, от души, предложение оказать помощь. Но какую помощь могли оказать гиганту «Челюскину» эти люди со своими собачьими упряжками? Все у нас есть: и продукты для экипажа, и топливо для котельных топок, и неутолимая жажда вырваться из ледяного плена. Нет одного: нет такой силы, которая могла бы мгновенно сокрушить льды или хотя бы прорубить в их толще достаточной ширины канал к полосе дрейфа. А помочь нам в этом бессильны и эти двое с их упряжками и все жители ближайших немногочисленных чукотских стойбищ...

И все же по просьбе Отто Юльевича Комов начал спрашивать чукчей, не может ли еще измениться ледовый режим в здешнем районе. Кому, как не им, многоопытным местным жителям, знать и судить, встал ли лед прочно на всю зиму или подводные течения и изменившие направление ветры, возможно, взломают его?

Гости ответили не сразу. Они долго спорили, горячо жестикулируя, и лишь после этого Николай Николаевич сообщил Шмидту их мнение:

— Со дня на день непременно подует ветер с юга, и тогда лед обязательно будет взломан. Его прогонит прочь от берегов. Поможет этому и полынья, которую мы успели выругать: она уже ослабила весь ледяной массив, и трещины, вероятнее всего, пройдут именно к ней.

— Стало быть, есть надежда вырваться? — выслушав это обнадеживающее сообщение, улыбнулся профессор и, прищурился глазами, повернулся к нам: — Что ж, друзья, придется помочь ветру: чем большей мы сделаем полынью, тем легче будет южному ветру освободить нас из плена. Аврал не прекращать.

Он пригласил чукчей на корабль и вместе с ними и с переводчиком Комовым направился к трапу. А мы опять взялись за ломы и пешни.

Не знаю, только ли мне показалось, что разговор с гостями произвел на начальника экспедиции двойное впечатление. Он будто и верил и не совсем верил прогнозу чукчей, словно бы сомневался в этом прогнозе. Быть может, для того и увел их к себе в каюту, чтобы там без помех расспросить еще подробнее?

А вечером произошло и вовсе странное: Шмидт начал вызывать к себе то одного, то другого из челюскинцев и о чем-то подолгу беседовал с ними с глазу на глаз. О чем — мы не знали, но видно было, что те, кого он вызывал, чувствуют себя не совсем в своей тарелке. В ответ же на наши вопросы они лишь смущенно и, пожалуй, несколько растерянно пожимали плечами:

— Да так, ничего особенного... Пустяки...

Вызвал Отто Юльевич и кочегара Данилкина, последние две недели пролежавшего пластом на койке у себя в каюте. Что за болезнь скрутила Мишу, не могли определить даже корабельные врачи Никитин и Мироненко, а с нами он и

вовсе не хотел говорить на эту тему, только жаловался на боли в желудке и ничего не мог ни пить, ни есть. Крепкий, красивый, сильный парень во время болезни высох в щепку, а злости и горечи в нем накопилось столько, что лучше не подходить. Пришлось бюро комсомольской ячейки назначить вместо Данилкина заведующим красным уголком Германа Ермилова, но и к этому решению Миша отнесся так, словно оно его не касалось. С полнейшим безразличием встретил он и вызов к начальнику экспедиции: поднялся с койки, натянул брюки и куртку и, пошатываясь, ушел.

Вернулся через час блее мела и, ни слова не говоря, рухнул лицом в подушку, затих. Мы с Мишей Ткачом бросились к нему:

— В чем дело? Что случилось, скажи!

Данилкин поднял лицо с мутными от слез глазами, с кусанными до крови губами:

— Идите вы...

И так ничего и не объяснил.

На следующее утро Шмидт и Комов неожиданно уехали вместе с береговыми гостями на их упряжках в чукотское стойбище. Зачем? Этого тоже никто не знал. Возвратились они на корабль сутки спустя и привели с собой целый обоз собачьих упряжек. Только теперь, наконец, прояснилось, и о чем вел беседы начальник экспедиции с некоторыми товарищами, и ради чего он ездил на берег: восемь человек, предупрежденные Отто Юльевичем, покидали судно и отправлялись на побережье, чтобы оттуда «собачьим транспортом» добираться в Уэллен, где их возьмет на борт любое судно, уходящее на юг.

Выходит, в день приезда гостей я был прав: профессор не рискнул без оглядки доверить судьбу экспедиции весьма приблизительному «прогнозу» местных жителей и решил принять меры на случай вынужденной зимовки корабля. Он теперь сам рассказал нам о своем замысле: первыми отправить восемь разведчиков, которым больше нет необходимости оставаться на судне, а когда чукчи соберут по стойбищам побольше собачьих упряжек — уедут и женщины с детьми, и пожилые, и кое-кто из физически не очень крепких товарищей. И останется зимовать на «Челюскине» пускай небольшой, но наиболее подготовленный и выносливый коллектив моряков и ученых.

Грустным было прощание с уезжающими. Грустным потому, что ни один из них не хотел покидать ставший плавучим домом корабль, и если бы не весьма веские на то причины, даже Шмидту не удалось бы уговорить их.

Миша Данилкин был болен: надо ехать. Доктору Мироненко поневоле пришлось сопровождать тяжело больного. Поэта Илью Сельвинского ожидала премьера его пьесы в одном из московских театров: мог ли он не рваться в Москву? Кинооператор Марк Трояновский должен был отвезти киноплёнки, снятые в экспедиции, а на «Челюскине» оставался его товарищ Аркадий Шафран. Секретарю начальника экспедиции и по совместительству корреспонденту «Комсомольской правды» Леониду Муханову выбора не оставалось: Шмидт приказал ему возглавить уходящую группу. Подчинились и остальные трое, и вскоре взвихренный нартами снег скрыл от нас быстро удалявшийся к берегу караван. И не успело еще это снежное облако рассеяться, осесть, как мы опять, наверстывая упущенное на проводы друзей время, принялись взрывать и выкалывать лед в окружающей корабль полынье.

Работали и на следующий день: от темна до темна, с редкими и короткими перерывами на перекур. Постепенно освободили изо льда весь корабельный нос и большую половину кормы. И вдруг 5 октября свершилось то, на что мы страстно надеялись, но во что верилось с трудом: ветер, долгожданный южный ветер задул, засвистел со стороны далеких, на самом краю горизонта, береговых гор! Он нарастал с каждой минутой, и вот уже на наших глазах черно-серый шлейф дыма из трубы парохода перебрался с южного борта «Челюскина» на северный, пятная хлопьями сажи нетронутую белизну расстилавшихся там снегов. А часом позже с палубы радостный вопль вахтенного матроса Геши Баранова оповестил:

— Братцы, началось! Вместе со льдом судно несет прямо на восток!

Словно новые силы влило это известие: оторвались! Заработали еще яростнее, еще быстрее, стараясь во что бы то ни стало сейчас же, сию же минуту освободить корабль из ледовой западни. Но сколько ни били ломом и пещнями, сколько ни подрывали зарядов аммонала, разрушить ледяное поле до позднего вечера так и не смогли. Слишком боль-



шим оказалось оно, слишком прочным. Его и могучий «Красин» не смог бы одолеть. И когда в синих сумерках, окончательно выбившись из сил, поднялись на палубу, мы увидели: вот они, совсем рядом, в каких-нибудь полтора километрах впереди судна, чернеют среди оснеженного льда разводья чистой воды, но от них к «Челюскину» — ни трещинки на нетронутой белизне...

Следующий рассвет опять застал нас на льду: начался девятый день неравной битвы. Нагрузившись зарядами и кирпичами, подрывники отправились к кромке ледяного поля, чтобы и с той стороны вести атаку. Помогая взрывам, заработала корабельная машина: полынья уже была достаточная для того, чтобы «Челюскин» мог и чуточку маневрировать и набирать небольшой разгон. Удар за ударом наносил он по льду, отламывая от него голубые глыбы, расширяя полынью. Взрывы не умолкали: и там, возле кромки, и тут, перед самым носом судна, работали подрывники, а мы едва успевали подносить им запасы взрывчатки и кирпичей. Все понимали: пока не поздно, пока ветер, не утихая, продолжает дуть с юга, мы должны, мы обязаны освободить пароход!



Первым почувствовал странный толчок под ногами кочегар Малаховский.

— Ребята, никак лед треснул? — удивленно, словно не веря, воскликнул он.

— Выдумал! Если бы треснул... — огрызнулся Петя Буйко.

Но тут уже не один Малаховский, а все закричали, заприплясывали, замахали сорванными с голов шапками:

— Ур-ра! Трещина! Трещина до самой кормы!

Черная, извилистая, как змея, трещина стремительно расширялась, пересекая все поле, и вахтенный рулевой на корабле уже нацеливал нос «Челюскина» прямо на нее.

— На пароход! — скомандовал штурман Марков. — Забирайте инструменты и бегом к трапу. Быстрее, капитан ждать не будет!

А змеевидная трещина уже успела превратиться в ручеек, потом в ручей. И к тому времени, когда последний из работавших на льду поднимался на палубу, корабль полным ходом шел по широкому, с рваными краями, голубому каналу, направляясь к темневшей вдали чистой воде.

Около часа петлял пароход по путанице разводьев, пока, наконец, выбрался в сплошной канал метров пятидесяти шириной и сразу лег курсом на восток. Девятидневный бой закончился нашей победой, и теперь ничто уже, казалось, не сможет нас задержать на пути к совсем близкому Берингову проливу. Стало обидно за товарищей, недавно покинувших судно, тревожно за Мишу Данилкина: им еще топтать и топтать следом за собачьими упряжками по малоллюдному, с редкими стойбищами берегу Чукотки, а мы, быть может, даже завтра доберемся до Уэллена. «Ну что ж, — успокаивал я себя, — подождем ребят и опять заберем на судно. Вместе и во Владивосток придем...»

Но, оказалось, рано мы радовались освобождению, рано торжествовали победу...

Добравшись по чистой воде до траверза скалистого и обрывистого мыса Сердце-Камень, «Челюскин» опять уперся в непреодолимый тупик. А ведь от мыса Сердце-Камень до пролива еще целых восемьдесят миль по прямой!

— Ничего не поделаешь, — решил капитан, — надо пробиваться. Изменится ветер — будет хуже.

Весь день, не останавливаясь ни на минуту, работала главная машина. То и дело звенел на мостике машинный телеграф, и записи переменных ходов в вахтенном журнале роели с необыкновенной быстротой: по двадцать и больше от «полного вперед» до «полного назад» за каждую четырехчасовую вахту! Стоя в руле, я едва успевал выполнять команды Воронина, и бедный «Челюскин», послушно подчиняясь штурвалу, как живой, бросался то вправо, то влево, чтобы тут же отступить для разбега и снова ринуться грудью на лед.

Даже один час такой работы до дрожи в руках, до судорог в спине выматывал силы. Уставали от напряжения и штурманы. А Владимир Иванович, как всегда во время опасности, вахту за вахтой не покидал мостик. Не потому, что не доверял своим опытным помощникам — штурманам: любой из них и сам сумел бы отлично справляться с обязан-

ностями ледового капитана. Но тягаться в судоводительском искусстве с Ворониным не смог бы, конечно, никто. Он каким-то особым, шестым чувством выискивал среди ледяных полей под глубоким снегом наиболее слабые, уязвимые участки и точно на них направлял нос парохода. «Челюскин» продвигался вперед вопреки всему. И постепенно мыс Сердце-Камень все дальше и дальше отступал в голубую морозную дымку за кормой.

Только наступление ночи вынудило капитана временно прекратить эту титаническую битву: в ночной темноте даже корабельный прожектор не мог ему помочь. Рванув ручку машинного телеграфа на «стоп», отчего сразу прекратился ритмичный шум машины и скрежет льда за бортом, Владимир Иванович наконец-то покинул ходовой мостик. Ничего, постоим до утра, отдохнем. Зато Сердце-Камень уже давно позади...

Но наступил рассвет, и в расплывчатой сизой дымке проклятый мыс опять замаячил далеко впереди судна! За долгую ночь попутный южный ветер успел смениться северо-западным, и соответственно изменившийся направление дрейфа отбросил корабль назад. Все с таким трудом отвоеванное накануне пошло насмарку: «Челюскин» начинал новый бой с прежних исходных позиций.

Так продолжалось сутки за сутками: днем с невероятными трудностями судно продвигалось вперед, за ночь его относило дрейфом в обратном направлении. Случалось, что в особенно ясную погоду мы отчетливо видели далеко на горизонте последний этап этой непрекращающейся битвы — темные контуры обрывистого мыса Дежнева, как бы стерегущего вход в Берингов пролив. Казалось, он зовет и манит нас, обещая скорую, окончательную победу, а вместе с ней и конец всем нашим бедам, тревогам и испытаниям. Но глянешь в такую минуту налево, на оледенелое без конца и без края море, — нет, не выпускают льды, не хотят выпускать... Посмотришь направо, в сторону берега, — и перед глазами, чуть впереди, чернеет ненавистный Сердце-Камень... И горько-горько становится: не оторваться от него, не уйти...

Тем временем дрейф успел развернуть «Челюскина» кормой к заданному, нужному нам курсу. Баллер руля ударом о льдину свернуло так, что корабль совершенно потерял управление. И пришлось окончательно остановить машину:



будь вокруг даже чистая вода, с поврежденным рулем все равно никуда не уйти...

Но, как видно, не зря говорится в народе, что одна беда не приходит, обязательно тащит за собой другую: в самый напряженный, критический день битвы с тяжелыми льдами, 26 октября, на судне начался пожар. Он возник в трюме, где хранились запасы каменного угля, и откуда едкий угарный дымок стал постепенно все ощутимее распространяться по корабельным помещениям. Вначале это показалось невероятным: откуда там мог появиться огонь? Но все стало понятно, как только механики вскрыли трюм и обнаружили, что за долгие месяцы плавания уголь слежаться, спрессоваться в плотную массу, в которой без достаточного притока свежего воздуха и началось самовозгорание. А едва копнули лопатами поглубже, как из дышащей жаром груды антрацита вырвались, заплясали, еще гуще задымили синеватые язычки пламени: пожар!

Нет большей беды на корабле в открытом море, чем такое несчастье. Соседние трюмы забиты легко воспламеняющимися грузами, буквально все — и деревянные переборки и металлические части — покрыты толстым слоем масляной краски. Промедли, растеряйся — так пойдет полыхать, что не остановишь! А на шлюпки не высадишься, на дрейфующий лед не сойдешь: смерть...

Все, как один, без сигнала тревоги бросились к раскаленному, заполненному дымом и удушающими газами трюму. Зашипела вода из шлангов, сбивая пламя, замелькали лопаты, перерывая, разбрасывая нестерпимо горячие слои угля. Сил хватало на одну-две минуты такой работы, потом — скорее наружу, глотнуть свежего воздуха, и опять в трюм. Постепенно наладилось, появились носилки, брезентовые мешки, и, подставив под них промокшие от пота спины, подхватив тяжелые ноши обожженными руками, превратившиеся в пожарных моряки, ученые, зимовщики бегом, только бегом тащили уже безопасный груз в соседний полупустой бункер. От едкого дыма слезились глаза, удушливый газ вызывал разрывающий грудь кашель и рвоту... Если кто-нибудь терял сознание, его тут же подхватывали и выносили на свежий воздух... Если вспыхивала одежда — окатывали струей ледяной воды из шланга... День прошел, ночь и еще один день...

Только к концу вторых суток удалось, наконец, ликвидировать последний очаг самовозгорания, окончательно обезопасить пароход от огня. А опомнились, пришли в себя, огляделись вокруг и увидели, что мыс Сердце-Камень по-прежнему чернеет впереди, чуть правее так нужного нам генерального курса...

...Листаю сегодня свой матросский дневник той далекой уже поры, и со страниц его, из скупых записей, как живые, встают незабываемые, на грани трагизма события:

**«28 октября.** За ночь нас опять отнесло на шесть миль западнее мыса Сердце-Камень. Теперь и приблизиться к нему нельзя: лед не пускает. Пытаемся наладить ручное управление с помощью тросов и лебедок.

**29 октября.** Ветер, сильный ветер задул с запада. Наконец-то попутный! Но что он даст? Ведь дрейф прекратился, неподвижно стоим на месте. Только бы не упал, не изменил направление ветер!

**30 октября, вечер.** Весь день благодаря попутному ветру медленно дрейфовали на восток. Сначала прошли мимо Сердце-Камня, днем миновали мыс Икигур, а сейчас находимся на траверзе мыса Волнистый. Скорость дрейфа заметно нарастает. Где-то впереди невидимый в темноте, но совсем уже близкий мыс Дежнева. Неужели выскочим?!

**31 октября.** Дежнев рядом! Сегодня, наконец, решится, быть победе или не быть. Если льды вместе с «Челюскиным» повернут в Берингов пролив, мы победили, прошли за одну навигацию весь Северный морской путь. А если нет...»

Решилось все на следующий день: 1 ноября 1933 года кормой вперед «Челюскин» вместе с пленившим его ледяным полем медленно-медленно втянуло дрейфом в долгожданный Берингов пролив!

В эти напряженные, решающие часы никто не хотел покинуть палубу. Даже на завтрак, на обед не уходили, словно боялись оторвать глаза от вахтенного матроса, через каждые десять минут измерявшего лотом скорость и направление дрейфа. Одна мысль волновала всех: куда, в какую сторону относит судно? И, не верящие ни в бога, ни в черта, мы страстно молили ветер:

— Дуй, дуй сильнее, но только, дьявол тебя побери, дуй в нужную сторону!

Ведь цель похода — вот она, совсем рядом: еще каких-нибудь тридцать миль, и дальше пролив расширяется, за ним — безбрежье Тихого океана. Так неужели же мы не получим эти тридцать миль?!

А дрейф уже нес «Челюскина» мимо скалистых обрывов коричневого мыса Дежнева... Впереди по курсу, всего лишь в полутора-двух милях, виднелись неоглядные просторы чистой воды...

Зоолог Стаханов и помполит Бобров решили сходить к кромке ледяного поля, посмотреть, крепок ли там лед, а на случай, если подвернется нерпа, захватили с собой винтовку. В это время Эрнест Кренкель установил связь с уэленской радиостанцией и узнал, что с берега весь день наблюдают за движением нашего судна. Он поднялся на мостик, чтобы сообщить об этом Шмидту, и услышал, как вдалеке, у кромки поля, раз за разом бабахнули несколько выстрелов.

— Это кто же там? — удивился радист.

— Алексей Николаевич и Стаханов, — ответил профессор. — Очевидно, решили вернуться с добычей.

— С добычей? — глаза у Кренкеля засверкали от предвкушения необыкновенного удовольствия. — Отто Юльевич, уделите мне одну минуту для разговора с глазу на глаз!

Я не знаю, о чем они шептались, но минуту спустя радист умчался к себе в рубку, а Шмидт, все еще посмеиваясь, пошел к поручням мостика и облокотился на них.

Когда час с небольшим спустя охотники возвратились на судно, начальник экспедиции встретил их мрачнее тучи.

— Алексей Николаевич, прошу подняться на мостик! — с непривычной, почти грозной резкостью позвал он Боброва. — Это вы изволили стрелять?

— Мы, — изумленный таким необычным тоном всегда сдержанного ученого вытаращил глаза помполит. — В нерпу. Но, к сожалению, промахнулись...

— Промахнулись? В таком случае потрудитесь объяснить, что означает эта радиограмма! — Шмидт протянул Боброву официальный бланк, исписанный размашистым почерком Эрнеста. — Читайте!

Побледневший помполит, волнуясь, начал медленно, с паузами:

— «Из Уэллена... Борт парохода «Челюскин», начальнику Главсевморпути профессору Отто Юльевичу Шмидту... Час назад залетевшей со стороны моря пулей в Уэллене смертельно ранена единственная на всю Чукотку дойная корова... В результате уэлленские дети ясельного возраста остались без молока... Просим выяснить, кто стрелял, и немедленно принять меры к обеспечению доставки нам новой коровы из Владивостока...»

— Ничего не понимаю! — развел Алексей Николаевич руками. — Мы же стреляли вовсе не в ту сторону! Как она под пулю угораздила?

— Вам виднее. — Шмидт отвернулся, чтобы не рассмеяться. — Кроме вас, никто стрелять не мог. Вам со Стахановым и корову придется раздобывать. Где хотите, но чтобы корова завтра же была!

— Хорошо, мы подумаем, постараемся, — убитым голосом начал Бобров и совсем растерялся, услышав гомерический хохот вокруг.

Розыгрыш, затеянный неугомонным Кренкелем, удался на

славу: ни Бобров, ни Стаханов не усомнились в действительности «сообщения», якобы принятого по радио из Уэллена. Власть насмеявшись вместе со всеми, они вскоре были «прославлены» в новогоднем выпуске корабельной стенной газеты:

На мысе Дежнева  
Гуляла корова  
И тихо о чем-то мечтала...  
Навстречу ей вышел  
Охотник безвестный,  
Шутя навернул  
По корове прелестной.  
Бедняжка корова  
Вдруг «ах!» промычала,  
Упала на снег  
И больше не встала.  
Была та корова  
Не очень здорова.  
Но вот ведь беда:  
Околела корова...  
...Товарищ Стаханов,  
Товарищ Бобров!  
Мы просим:  
Не бейте  
Несчастных коров!

Тем временем дрейф продолжался с прежней скоростью. Целых трое суток, вплоть до 4 ноября, двигался пароход по Берингову проливу к морю Беринга, к Тихому океану.

Однако Шмидт и Воронин все еще не спешили сообщать в Москву об одержанной нами победе. Видя, как радуются участники экспедиции, сдержанный Отто Юльевич прятал в густой бороде и понимающую и как будто немножко тревожную улыбку. А резковатый Владимир Иванович откровенно-сердито охлаждал чересчур веселых:

— Рано в колокола звонить! Ишь, как вас распирает раньше времени...

Что это, суеверие? Извечное «как бы чего не вышло»? Нет, трезвый расчет и не менее трезвая оценка сложившейся на море обстановки: сначала доведи дело до конца, потом ликуй. Только когда траверз мыса Дежнева и Уэллен остались позади, радисты получили распоряжение передать в Москву радиограмму, которую в эти дни с нетерпением ожидал весь мир:

«Задание партии и правительства выполнено. Северный морской путь пройден «Челюскиным» за два месяца и двадцать четыре дня. Отныне этот путь проходим не только для ледоколов, но и для обычных морских пароходов».

А впереди, раздвигая туманные берега Азии и Америки, уже расстилалось преддверие Тихого океана — Берингово море.

## В западне

В сером морозном сумраке приближающегося рассвета по палубе бродили встревоженные люди. Каждые десять минут тонко повизгивала вьюшка механического лота, измерявшего скорость и направление дрейфа. Но вместо недавних радостных теперь отрывисто и сердито звучали то недоверчивые, то встревоженные людские голоса:

— Врешь! Не может быть!

— Спроси у матроса: с каждым забросом лота скорость меньше.

— А ветер — не видишь? Вчера с носа дул, сейчас прямо в корму...

К утру рассеялись последние сомнения: сильный ветер, задувший с юга, гасил скорость дрейфа. Прав был Воронин, когда ворчал, что рано в колокола звонить. Не зря и улыбка Шмидта показалась мне вчера не столько уверенной, сколько тревожной...

Утро вставало голубое, морозное, солнечным светом заливающее притихшие берега Чукотки. В бинокль были отчетливо видны конусообразные яранги эскимосского поселка Наукан и даже крошечные фигурки людей. Но теперь все это уже не радовало никого. Оставалась последняя крошечная и призрачная надежда: может быть, ледяное поле еще упрутся в берег, ветер спрессует льды, сломает их и «Челюскин» вырвется из западни? Если бы так! Но проходил за часом час, а изменений вокруг корабля не было никаких...

К вечеру дрейф прекратился совсем и очертания берегов стали еще угрюмее и настороженнее. С молчаливой тоской глядели мы на них: близко, но судно не бросишь, на берег

не уйдешь. Так и разбрелись по каютам, не зная, что принесет с собой следующий день.

Ночью движение льда возобновилось опять. Возобновилось, но только не в южном направлении, а назад, к Чукотскому морю. Заступив на ночную вахту, я поспешил вытравить лот — и глазам своим не поверил: как быстро относит судно на север! И даже вздрогнул, услышав рядом короткий вопрос незаметно подошедшего Гаккеля:

— Прет?

— Прет, Як-Як. Шесть метров в минуту. Но почему несет на север?

— Норд-вестом из Чукотского моря нагнало в пролив очень много воды, — вздохнул ученый. — А вчера в Тихом океане разыгрался тайфун. По радио сообщали, что сильно разрушен какой-то японский город... Отголоски донесшегося сюда тайфуна гонят воду назад, в Чукотское море, а вместе с ней и нашу льдину и пароход...

— Значит, мы...

— Пока ничего определенного. — Гаккель пожал плечами. — Все будет зависеть от скорости дрейфа и направления ветра в ближайшие двое-трое суток.

— А если дрейф не изменится?

Ученый сжал мою руку повыше локтя:

— Не вешайте носа, «старик». Бывает и хуже...

Он круто повернулся, ушел в темноту, а у меня защемило сердце: чего еще более худшего следует нам ожидать? Но когда полчаса спустя с тем же вопросом подошел плотник из строительной бригады Миша Березин, я, подражая Гаккелю, постарался ответить ему как мог бодрее:

— Пока нормально, дружище. Несет, но всего лишь девять метров в минуту.

О том, куда несет, сказать не решился, не смог: не надо тревожить парня, впервые в жизни очутившегося в такой непривычной обстановке...

А дрейф продолжал нарастать, стремительно и неотвратимо. Каждый новый промер лотом убеждал меня в этой катастрофической неотвратимости. И, сдавая предупредительную вахту своему сменщику Мише Ткачу, я не выдержал, облегчил душу в крепком матросском «загибе»:

— Туда его так и разэдак, Мишук: тридцать метров в минуту!

К утру скорость дрейфа достигла своеобразного рекорда: ледяное поле с беспомощным пароходом в центре двигалось на север с быстротой, от которой мы успели отвыкнуть. Почти четыре мили в час! Не мудрено, что к восходу солнца на горизонте не осталось и признака суши. Вокруг теперя растлались сплошные льды, и только на севере, милях в полтора от корабля, в морозном воздухе все еще вздымалась стена белого пара над огромной полыньей.

Захватив бинокль, я взобрался на верхушку гротмачты и принялся рассматривать безрадостную картину. Льды и льды кругом, ни конца им, ни края. Только северная полынья кажется с высоты широкой черной рекой, далеко протянувшейся с востока на запад. На востоке она круто поворачивает на юг и исчезает в направлении Берингова пролива...

«Бывает и хуже», — вспомнились давешние слова Гаккеля. А ведь могло быть совсем по-другому. Все было бы совершенно иначе, если бы бесконечная полынья, разорвавшая льды вон там, на севере, прошла вчера в непосредственной близости от «Челюскина». Глядишь, мы сейчас уже топали бы на юг, к Владивостоку...

Получилось хуже некуда (я был в штурманской рубке, сверился по карте): проклятая льдина вместе с судном угодила в ветвь тихоокеанского течения Куросиво, которое дальше к норду сливается с северным течением Геральд. Если так будет продолжаться, наш дрейф можно предсказать заранее: мимо банки Геральд, севернее острова Врангеля, а оттуда — в приполюсную глубь Ледовитого океана, в районы, где никогда не бывало ни одного корабля... Страшно? Нет. Но насколько спокойнее и увереннее чувствовали бы себя все ребята, если б на борту судна были сейчас только мы, молодые и сильные, а не женщины, дети и пожилые люди, которых так и не удалось высадить на чукотский берег...

Оказалось, не я один думал об этом. После завтрака в нашу с Ткачом каюту, как в клуб, опять один за другим потянулись хлопцы. Пришел третий помощник капитана Борис Виноградов, славный парень, с которым мы крепко подружились за время совместных комсомольских вахт. Следом, попыхивая дымком неразлучной трубки, явился розовый после бани Валя Паршинский, а там и Федя Решетников с Сашей Погосовым, и Степа Фетин, и другие ребята подошли. Усаживались, где кому место нашлось — на ди-

ванчике, на койках, просто на палубе. И напропалую честили чертов дрейф.

Я наблюдал за ребятами и думал: «Нет, никакие дрейфы нам не страшны... Хлопцы один к одному, у каждого, несмотря на молодость, за плечами уже столько пережитого, что и на десятерых хватит. Федя Решетников до сих пор нет-нет да и вспоминает свое беспризорное детство, Саша Погосов успел и землекопом побывать, и на заводе поработал, и в танковых частях положенный срок отслужил. Наши архангелогородцы — Паршинский, Фетин, Громов, Баранов, Кукушкин — все моряки, каких поискать; недаром Владимир Иванович и позвал их на «Челюскин». А разве мало таких же среди остальных челюскинцев? Разве есть среди них хоть один, которого можно было бы назвать белоручкой?»

— А наплевать нам на зимовку! — повысил голос Вася Громов, заставив меня очнуться от дум. — Что мы, зимовки не видали? Перезимуем — и во Владивосток!

— Если б не строители и не женщины, не беда, — согласился Паршинский, — а с ними морока.

— Какая? — вскинул брови Погосов. — Как все, так и они: не делиться же нам на сильных и слабых.

— Не в делении дело, — пыхнул дымком из трубки Валя, — в людях. Слышал, что Отто Юльевич говорил?

— А что?

— Все у нас друг за друга в ответе. А с коммунистов и комсомольцев спрос во сто крат больший, чем с остальных.

— Я не согласен! — решительно заявил Виноградов. — Чем же я хуже любого из вас? Только тем, что еще не подал заявление в комсомол?

— Так подавай, — подхватил Решетников, — чего тянешь?

— Мы с Сашей уже решили этот вопрос, — кивнул Борис в мою сторону. — С нового года вся наша вахта будет комсомольской.

— Тогда и с тебя потребуем двойной и тройной спрос, — улыбнулся Фетин. — И с Юры Морозова: он уже отдал мне свое заявление. Кстати, ребята, не пора ли нам перевыборы бюро ячейки провести? Да и всю нашу работу на новый, на зимовочный лад перевести?

— Малость повременим, — буркнул Вася. — Может, еще и выберемся из ловушки.

Как ни сложна была обстановка, в которую попал пароход, а надежду на освобождение все еще не терял никто. Федя Решетников философски заметил:

— Поживем — увидим, как будет дальше, а пока о насущном думать надо.

— О чем, например?

— Праздник на носу. Годовщина Октября. Или нас это не касается?

Фетин поднялся с дивана.

— Задоров поручил нам взять подготовку к празднику на себя. Так что отставить посторонние разговоры. Давайте наметим, кто что должен сделать.

...В праздничный день, задолго до рассвета, мы с Ткачом и Виноградовым украсили судно флагами расцвечивания. Гирлянды их, растянутые от клотиков мачт к носу и корме, трепетали на морозном ветру, переливаясь яркими красками. От этой праздничной пестроты за долгое плавание наши глаза успели отвыкнуть. Корабельные радисты едва успевали принимать поздравительные радиограммы, потоком хлынувшие на «Челюскин» с Большой земли. Кок и его помощники постарались приготовить вкусный праздничный завтрак.

А после завтрака мы большой группой во главе со Шмидтом отправились к северной полынье, еще не успевшей затянуться ледком. До чего же необычно и интересно оказалось здесь! В полынье, словно в гигантском естественном аквариуме, резвились многочисленные стада клыкастых моржей, оглашавших морозный воздух громким хриловатым ревом и фырканьем. Держась подальше от этих гигантов, то появлялись, то вновь исчезали круглые усатые головки черноглазых любопытных тюленей. Ни те, ни другие совершенно не боялись людей и проплывали возле самых наших ног, будто никак не могли взять в толк, что за странные двуногие «звери» расхаживают и шумят на краю ледяного поля.

Вот где разгорелись страсти наших завязтых охотников: добыча чуть не сама шла в руки! Но бывалым полярникам пришлось охладить их охотничий азарт: многотонную тушу моржа без лебедки из полыньи не вытащить. И пришлось возвращаться на судно без желанных трофеев...

Вечером принаряженные, торжественные, собрались в кают-компанию. Слушали воспоминания Алексея Николаевича Боброва об Октябрьских событиях в Москве, бывшего

конармейца-буденновца Саши Канцына о гражданской войне. И как бы само собой, случайно и незаметно получилось так, что в эту волнующую, необыкновенно интересную беседу об исторических революционных событиях включился Отто Юльевич Шмидт. Пожалуй, никто из нас, даже сибиряковцы, до этого памятного вечера почти ничего не знали о том, какое замечательное революционное прошлое у нашего ледового комиссара! Оказывается, он еще в июльские дни 1917 года перебрался из Киева в Петроград, стремясь принять участие в революционной борьбе, и сразу после Октябрьского переворота начал вместе с Цюрупой и Мануильским работать в Народном комиссариате продовольствия. В начале 1918 года, уже в Москве, Шмидт стал членом коллегии Наркомпрода и в том же году вступил в члены большевистской партии.

— Рост большевика, пришедшего из «старой» интеллигенции, явление довольно сложное, — задумчиво шурясь, говорил Отто Юльевич. — И мы, интеллигенты, должны быть особенно благодарны партии, которая нами руководила, дала возможность расти, все время предупреждала и исправляла наши ошибки...

Беседы с Владимиром Ильичем Лениным... Заседания Совета народных комиссаров... Участие в партийных съездах... Ведь это Владимир Ильич поручил молодому профессору математики создавать продовольственные органы на местах, формировать продотряды, отбиравшие у кулаков хлеб для голодающих защитников молодой Советской России. Это Ленин собственной рукой вносил поправки в текст проекта декрета Совнаркома о потребительских коммунах, составленный членом временного правления Центросоюза О. Ю. Шмидтом весной 1919 года. А два года спустя, в апреле 1921 года, Владимир Ильич лично подписал назначение ученого-большевика членом коллегии Народного комиссариата финансов. И в том же году поручил ему по совместительству работу в Государственном издательстве, которое должно было издавать литературу, как воздух необходимую победившему рабочему классу.

Мы слушали этот рассказ, затаив дыхание, и прикажи нам в те минуты ледовый комиссар поднять на плечи «Челюскин» и на руках перенести к полынье, пожалуй, никто из нас не усомнился бы в том, что даже и с этой немислимой задачей мы сможем справиться наверняка!

Но Шмидт и Воронин не приказали, а предложили: не попытаться ли пробить ломами и взрывами канал во льду от места стоянки судна до полыньи? И со следующего утра мы опять волокли снаряд за снарядом к кромке ледяного поля, опять заталкивали взрывчатку в выдолбленные лунки, опять взрывали, взрывали, но... все напрасно: слишком толст, уже по-зимнему крепок был многолетний арктический лед.

Тем временем плотники начали готовить пароход к зимовке. Наружные стены жилых помещений для тепла обшили войлоком и досками, перед дверью, ведущей на корму, сколотили тамбур, спардечные двери вовсе наглухо задраили до самой весны: так внутрь корабля будет попадать меньше холодного наружного воздуха.

А все же машину корабельную продолжали держать в двенадцатичасовой готовности: вдруг да изменится ледовая обстановка, начнут появляться трещины в полях? Была и еще одна, совсем маленькая, надежда: не придут ли на помощь суда, не успевшие покинуть прибрежные воды Чукотки? Ведь если дальше к востоку ледовый режим не такой тяжелый, как у нас, тот же ледорез «Литке», лавируя по разводьям и сокрушая небольшие перемычки, сумеет добраться до «Челюскина». А тогда и пригодится его машина и понадобится самостоятельный ход нашего корабля...

10 ноября Кренкель передал в эфир вторую с начала ноябрьского дрейфа радиограмму:

**«Литке», Бочеку, копии Николаеву, Красинскому.** Дрейф «Челюскина» продолжается в прежнем направлении со скоростью трех четвертей мили в час. Хотя после обратного выхода из Берингова пролива наша льдина уменьшилась в размере, но наступившее и, по-видимому, устойчивое безветрие сильно уменьшает нашу надежду на разлом льдины ветром и волной. При таких условиях мы обращаемся к вам с просьбой оказать нашему пароходу содействие в выходе из льдов силой ледореза «Литке». Зная о трудной работе, проведенной «Литке», и имеющихся у него повреждениях, мы с тяжелой душой посылаем эту телеграмму. Однако обстановка в данный момент более благоприятна для похода «Литке» к нам, чем когда бы то ни было: по-видимому, «Литке» сможет, следуя между восточной кромкой и американским берегом, пройти к нашей льдине по чистой воде. Состояние нашей льдины подробно обрисовано во вчерашней телеграмме, из

которой видно, что до разреженного льда от «Челюскина» три четверти мили, а до кромки в некоторых направлениях две мили. Мы надеемся, что «Литке» сможет разломать льдину, в которую влез «Челюскин», при одновременной работе «Челюскина» и взрывах. В крайнем случае, если бы разломать не удалось, мы перебросили бы по льду на «Литке» большую часть людей для передачи на «Смоленск», что значительно облегчило бы нам зимовку. При необходимости «Челюскин» может дать «Литке» уголь. Просим вашего ответа».

Мы не сомневались в том, что ответит «Литке» на эту просьбу. Ответит, конечно же, согласием, хотя сам он лишь недавно вырвался из льдов, где провел трудную, полную лишений зимовку, после которой очень нуждается в капитальном ремонте.

И «Литке» ответил:

«Несмотря на исключительный риск при настоящем техническом состоянии ледореза, решили большевистскими темпами провести подготовку к выходу в Арктику».

Он шел к нам медленно, осторожно, этот иссеченный шрамами полярный боец, и 16 ноября был уже всего лишь в тридцати милях от «Челюскина». Но дальше из-за тяжелых, многометровой толщины паковых льдов не смог продвинуться ни на кабельтов. Командование экспедиции решило срочно перебросить на ледорез хотя бы часть намеченных к эвакуации челюскинцев по воздуху, но амфибия Бабушкина, взлетая с наскоро расчищенной площадки возле парохода, задела лыжей за ропак и надолго вышла из строя, а Н-4 летчика Красинского, стартуя с мыса Северного, снес шасси. К счастью, экипажи самолетов при этом не пострадали, но возможность воздушной переброски наших людей на ледорез отпала сама собой.

«Литке» ушел назад в Берингов пролив, оттуда во Владивосток.

«Челюскин» опять остался один в непрекращающемся зимнем дрейфе, далеко от родных берегов.

И отныне никто уже не мог оказать ему ни малейшей помощи.

Началась зимовка...

Все позже и позже вставало над ледяной пустыней тусклое солнце. Все короче становились хмурые дни. От мороза

трещали и постанывали ледяные поля, а над ними, над кораблем почти беспрерывно мела колючая, злая поземка.

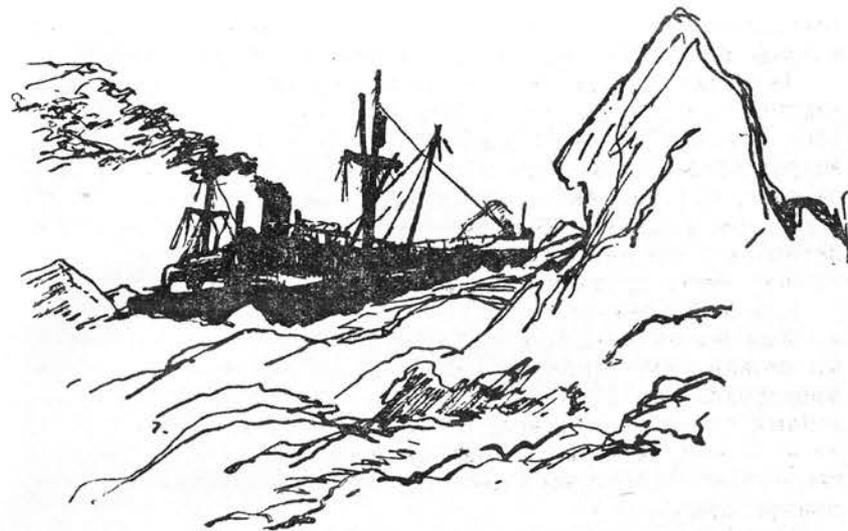
Зато как прекрасны, как неповторимы были звонкие от тишины арктические ночи! Затихал ветер, и в иссиня-черном небе хрупкой льдинкой одиноко сияла луна, озарявшая все вокруг призрачным, чуть мерцающим светом. Нежно искрился снег, причудливыми алмазами сверкали изломы ропаков и торосов, и такая торжественная, первозданная тишина стояла вокруг, что даже разговаривать хотелось и тише и душнее, как в древнем храме, где каждый камень — история.

Или небо озарялось вдруг всплесками северного сияния, и тогда мы выбегали на палубу и, не чувствуя холода, часами стояли там, глядя в небо, где беззвучно буйствовала многокрасочная феерия света. То огненными, кроваво-алыми тонами полыхал небосвод, то пурпуром и золотом разливались по нему из края в край световые реки. Или миг — и гигантские сполохи всех цветов и оттенков взвиваются в бездонную высь.

Никогда не забыть Арктику тому, кто хоть раз повидал несказанную красоту зимних ночей. И хоть мне за годы морской службы довелось побывать в разных широтах и в самых дальних заморских странах, а нигде больше и никогда я такой красоты не видал...

Шли дни и недели зимовки, постепенно вносящей свои коррективы в сложившийся распорядок корабельной жизни. Регулярные, четырехчасовые морские вахты пришлось отменить: на стоянке они не нужны. Вместо вахт создали рабочие бригады: из матросов — для очистки снега с палубы, из машинистов и кочегаров — для текущего ремонта судовых механизмов. Мастера на все руки — полярники, так и не добравшиеся до острова Врангеля, вместе с плотниками перетасили на пароход поврежденную «шаврушку» и принялись мудрить над ней, дав слово Михаилу Сергеевичу Бабушкину, что опять заставят летать «зеленую стрекозу».

Мы не чувствовали себя одиночками, отрезанными от Большой земли, и заслуга в этом в значительной мере принадлежала радистам. Каждое утро принимали они сводки ТАСС о жизни родной страны и к обеду вывешивали их на стендах в кают-компании и в жилом коридоре команды. Неизменный



интерес у всех вызывали радиовести о том, как относятся в Москве к нашему походу и к нашей зимовке.

А Большая земля, наша Родина, продолжала с неослабевающим вниманием следить за всеми перипетиями челюскинской эпопеи. И не только следить, но, тревожась за нас, и принимать самые действенные меры для оказания помощи экипажу затертого льдами парохода.

Оснований для этого было более чем достаточно.

24 ноября неподалеку от правого борта появилась длинная трещина метров восьми шириной. Столь близкое соседство не внушало особенного доверия, тем более что за день льдина треснула еще в нескольких местах, кое-где началось торошение. А к вечеру уже весь пароход скрипел и стонал под натиском пришедших в движение льдов. Для корабля, зимующего в дрейфе, нет ничего опаснее и страшнее такого сжатия: льды способны сокрушить, изломать борта самого крепкого судна. К счастью, все обошлось.

Сжатие наблюдалось и на следующий вечер. Льды давили с такой чудовищной силой, что «Челюскин» даже накренило на левый борт.

Готовые к самому худшему, мы оделись теплее и вышли

на палубу, ожидая команды приступить к выгрузке на лед продуктов и аварийного снаряжения...

Но и на этот раз сжатие прекратилось так же внезапно, как началось. Однако есть ли гарантия, что оно не повторится с еще большей силой, катастрофической для судна?..

Обо всем этом, конечно, знали в Москве: Отто Юльевич не считал возможным скрывать от Большой земли даже самую горькую правду. И Большая земля продолжала думать и заботиться о нас.

26 ноября в бухту Провидения на Чукотке прибыл пароход «Смоленск», доставивший два больших самолета АНТ-4 и летный отряд Ляпидевского и Конкина. Им предстояла ответственная и чрезвычайно сложная операция по вывозке на материк части людей с «Челюскина» и с транспортных судов Колымской экспедиции, зазимовавших в районе мыса Якан. Надо было готовиться к приемке самолетов на нашей льдине, а для этого заблаговременно расчистить поближе к судну посадочную площадку длиной в восемьсот и шириной в триста метров. Михаил Сергеевич Бабушкин облюбовал ее милях в полутора от корабля, и отныне мы каждый день отправлялись с утра на «аэродром» и до наступления темноты рубили ропаки, разравнивали заструги и наносы.

В начале декабря оба самолета перелетели из бухты Провидения в Уэллен. Был к этому времени готов и наш аэродром. Мы ожидали воздушные корабли со дня на день: за четыре-пять рейсов они вывезут всех, намеченных к эвакуации, и останется нас на зимовке только сорок два человека, чтобы и научные работы продолжать, и вывести весной «Челюскин» на чистую воду. Но серенький полярный день уменьшился до полутора-двух часов, почти непрерывно мели непроглядные пурги. Свирепые морозы не давали Ляпидевскому и Конкину поднять машины в воздух...

И на корабле по-прежнему оставались все сто пять человек.

Как и предполагали наши ученые, ледовый дрейф не прекратился и зимой. «Челюскин» отнесло к 68° северной широты, где, выписывая замысловатые узлы и петли, он медленно двигался вместе со льдами между 172° и 173° западной долготы.

— Хорошо, что к Северному полюсу не утащило, — шутили ребята, — а отсюда и до земли не очень далеко.

Да, всего лишь сто с лишним километров отделяли нас от ближайшей точки чукотского побережья — мыса Онман. Для «Челюскина» — три-четыре часа полного хода по прямой по чистой воде. Но воды этой не было. Были сто с лишним километров сплошных, скованных зимним морозом, непроходимых ропаков и торосов. И ни малейшей надежды выбраться из них до самой весны...

## Ожидание

Сто пять человек, из них двое детей. У каждого свой характер, свои стремления и привычки. Как-то перенесем мы испытания долгой и трудной зимовки?

История арктических экспедиций знает немало трагедий. Потерявшие рассудок полярники не выдерживали тягот многомесячной ночи и кончали с собой; лишенные свежей пищи, зимовщики умирали от цинги, на произвол судьбы, на смерть бросали больных и обессиленных товарищей. Покидали затертые льдами корабли и бесследно исчезали на пути даже к близкому берегу, а то и добравшись до земли...

Недаром на Новой Земле, на Шпицбергене, на всем побережье полярных морей так много безыменных могил и неведомо в чью память поставленных деревянных крестов.

А как будет у нас?

— У нас нет ни дня, ни часа свободного времени, которое можно было бы тратить зря, — говорил секретарь партийной ячейки Задоров на комсомольском собрании, состоявшемся в самом конце ноября. — Зимовка во льдах предъявляет особый счет к выносливости, к трудолюбию и дисциплине. Ждать помощи со стороны до весны нечего, а работы невпроворот. Придется всю зиму обеспечивать судно пресной водой. Экономить топливо. Расчищать аэродромы. Придется и крепко учиться, чтобы зима не прошла попусту. Вас, комсомольцев, без малого пятая часть на корабле, а вместе с коммунистами треть экипажа — сила! И на эту силу и будут опираться Шмидт и Воронин, они перед партией и народом в ответе за все!

Он коротко рассказывал о недавнем заседании бюро пар-

тийной ячейки, о выступлении на нем начальника экспедиции, вспомнил и о капитане:

— Владимир Иванович — первоклассный моряк, но и он ошибается, как и любой человек. Основная ошибка Воронина в том, что он видит главную нашу задачу только в работе. А Отто Юльевич в первую очередь думает о тех, кто эту работу должен выполнять. Ведь отлично работать могут лишь те, кто видит необходимость работы и верит в конечный успех, в неременное достижение цели. Так вот вам установка начальника экспедиции, полученная и коммунистами: работа — жить! Жить дружно и интересно, увлеченно и весело. Чтобы каждый день приносил с собой новое, необходимое всем. Чтобы смех не угасал и люди не кисли. Чтобы на хандру и тоскливые размышления не оставалось ни минуты. Тогда и зима пролетит незаметно...

Задоров ушел, не остался на перевыборы бюро. Быть может, и это посоветовал ему Шмидт, чтобы предоставить ребятам полнейшую самостоятельность: решайте, на то вы и комсомольцы. А мы, прежде чем выбирать новое бюро, дружно проголосовали за прием в комсомол штурмана Бориса Виноградова и помощника корабельного кока Юры Морозова: оба на деле доказали, что достойны носить комсомольский билет.

— Здорово получается, — заметил Степа Фетин. — Ушел Данилкин, нас осталось шестнадцать. Теперь — восемнадцать, на одного больше, чем было в Мурманске. Действительно сила!

В бюро избрали Ткача, Решетникова, Громова, Погосова и меня. Фетина по его просьбе освободили от обязанностей секретаря: у машинистов было слишком много работы по текущему ремонту корабельных механизмов, и вместо Степана секретарем ячейки стал Миша Ткач. Тут же распределили и записали в протокол обязанности всех комсомольцев: «Решетников — стенгазета. Громов — судком. Ермилов — красный уголок. Паршинский — физкультура и спорт. Погосов — стрелковое дело. Миронов — литературный кружок...»

...Дружно жил и много трудился наш коллектив. Я не помню ни одного большого ли, малого ли события, которое в одинаковой мере не касалось бы всех челюскинцев. У кого-нибудь день рождения — сообща готовим подарки. Простудился кто-нибудь из ребят, заболел — не оставим больного

в одиночестве томиться в его каюте, почитаем ему интересную книгу, расскажем забавное, развеселим. Оторвалась подошва у валенка, а ты не умеешь подшить — не беда, найдутся умельцы, пришьют, и на следующее утро шагай на работу вместе со всеми!

Ну, а если опасность грозит кораблю, если вдруг возникает проблема, от которой зависит вся дальнейшая судьба экспедиции, на борьбу с опасностью, на решение самой сложной проблемы опять же поднимаются все.

В декабре механики подсчитали, что к весне «Челюскин» может оказаться без топлива для котлов. В бункерах оставалось всего лишь около четырехсот тонн угля, а это значило, что, израсходовав его за зиму, судно не сможет потом выбраться изо льда и дойти хотя бы до бухты Провидения. Приходилось уже теперь думать, как экономить топливо, каким способом довести ежесуточный расход его до минимума. Выход нашли: сообща решили объявить авральный поход за экономию угля.

На вахту к котельным топкам отныне становились только самые опытные, самые «скупые» кочегары, готовые чуть ли не взвешивать каждую лопату сжигаемого топлива. Машинисты не просто регулировали подачу воздуха в топки, а следили за ней, как за собственным дыханием: избави бог подать лишней! Механики придирчиво ощупывали паропроводы: не слишком ли горячи?

Но всего этого оказалось мало.

— Нельзя ли периодически выключать отопление в каютах? — предложил второй механик Федор Петрович Тойкин. — С перерывами. Так, чтобы в общей сложности часов восемь в сутки котел отдыхал?

Попробовали, и оказалось, что в жилых помещениях сырости нет. И температура воздуха падала в них не очень быстро. Только в крайних, в угловых, каютах у боцмана Загорского и у штурмана Маркова вода в графинах успевала покрываться тоненькой корочкой льда: две стальные стены, выходящие на палубу и в надбортную часть судна, за какой-нибудь час поглощали все тепло. Но ни боцман, ни штурман не жаловались на холод, а если становилось совсем невмоготу, уходили ночевать к соседям, в чьих каютах можно было спать хотя бы без ватных курток.

Пришлось выключить из сети парового отопления и каюту

капитана, и штурманскую рубку, и твиндек, где жили зимовщики и строители. Взамен выключенных радиаторов в этих помещениях установили чугунные печурки-камелки, с помощью самодельных форсунок отапливавшиеся нефтью. Такой же камелек появился в промерзшей насквозь каюте Отто Юльевича Шмидта.

Вот когда, наконец, вместо двух тонн угля в сутки «Челюскин» стал расходовать всего лишь немногим более восьмисот килограммов! А это значило, что и до весны доживем «в тесноте — не в обиде» и весной сможем благополучно добраться до угольных складов бухты Провидения!

Худо было и с пресной водой для питания корабельных котлов, для варки пищи и хозяйственных нужд. Мы успели почти полностью израсходовать запасы ее, а воды и на зимовке требовалось немало: работал один котел, людям надо было хоть раз в неделю вымыться в бане, да и постельное белье надо было менять хотя бы раз в месяц.

Тут опять пришлось поломать голову механикам и машинистам. Из большой металлической бочки они соорудили хитроумный «льдоплавильный завод», обогревавшийся отработанным паром, поступавшим по шлангу из машинного отделения. Пар растапливал в бочке лед, а потом корабельные донки перекачивали воду в питьевые цистерны-танки. Все бы ладно, да только беда, что «завод» действовал круглые сутки, и прожорливую бочку приходилось через каждые полчаса загружать свежими порциями льда.

Начался новый аврал, на этот раз «ледяной»: облюбовав поближе к судну торос побольше, мы ломали и пешнями откалывали от него увесистые глыбы и грузили на широкие самодельные сани. Груз тащили к «льдоплавильному заводу». За короткий день надо было успеть заготовить столько сырья, чтобы его хватило на всю долгую ночь. Не мудрено, что от такой работы на ребятах и в жгучие морозы дымилась от пота свитеры. Зато запасы льда всегда имелись в избытке.

Неприятная, да и опасная вещь — вынужденная зимовка в дрейфующих льдах в открытом море. Но ученые наши были, пожалуй, довольны ею: никогда еще ни одному из их предшественников не представлялись такие исключительные возможности для исследовательских работ в этом совершенно неизученном районе. И естественно, что все они не жалели

сил, стремясь вырвать как можно больше тайн у сурового полярного моря.

До «Челюскина» гидрограф Петр Константинович Хмызников и геодезист Яков Яковлевич Гаккель принимали участие во многих, в том числе и в арктических, экспедициях. Гаккель, в частности, лишь год назад прошел Северный морской путь на «Сибирякове». Но оба они, по их собственным словам, теперь впервые получили в свое распоряжение такую поистине необъятную научную «лабораторию», как наша не предусмотренная никакими планами зимовка. Для Хмызникова и Гаккеля не существовало хорошей и плохой погоды. Они работали и в ясные дни, и в пурговые ночи, и в такой штормовой ветер, когда на палубу без нужды нос нельзя было высунуть: регулярными промерами глубин наносили на карту рельеф морского дна, вели наблюдение за ледовым покровом моря, за скоростью и направлениями все время меняющегося дрейфа.

Гидрохимик Параскева Григорьевна Лобза с таким же старанием, как и прежде, продолжала заниматься анализами проб морской воды и различных по своей структуре ледообразований. Ручная пила-ножовка, которой она день за днем выпиливала тонкие пластинки из казавшихся нам одинаковыми льдин, редко оставалась в покое. А для Параскевы Григорьевны эти хрустальные пластинки и кубики были сущей драгоценностью: по ним она определяла не только химический состав, но и возраст льдин и даже то, где они образовались и какой проделали путь, прежде чем оказаться в нашем районе.

Частые сжатия и торошения, тревожившие всех, представляли исключительный интерес для инженера-физика Ибрагима Гафуровича Факидова, автора целого ряда научных работ и ценных изобретений. Он еще в самом начале экспедиции стал вести наблюдения за деформацией корпуса судна на чистой воде и во льдах, имевшие чрезвычайно важное значение для кораблестроительной науки и практики. А магнитные наблюдения Факидова за колебаниями ледяного покрова открывали совершенно новую страницу в научном исследовании Арктики.

Ученый охотно делился с нами своими мыслями и наблюдениями.

— Причиной колебания сплошных льдов в основном, ко-

нечно, является ветер, — рассказывал он. — Но вот что интересно: как правило, льды начинают колебаться в районе судна гораздо раньше, чем сюда доходит ветер. Таким образом, наблюдая за ледяным покровом, я могу точнее и раньше метеорологов «предсказать», какой силы и с какого направления шторм следует ожидать. Разве это не находка для зимующих судов?

Факидов работал не только на палубе и в трюмах «Челюскина». В сотне метров от судна он разбил на льду палатку и «колдовал» в ней над своими приборами и самописцами.

Большой запас надувных резиновых шаров позволял аэрологу Николаю Николаевичу Шпаковскому непрерывно вести аэрологические наблюдения в верхних слоях заполярной атмосферы. Николай Николаевич установил во время зимовки «Челюскина» мировой для тех времен рекорд подъема шаров-пилотов с прибором профессора Молчанова, запустив их однажды на высоту двух тысяч метров над уровнем моря, где температура воздуха оказалась минус 42 градуса по Цельсию, тогда как на поверхности льда составляла только минус 11,8 градуса. Радиозонд достиг этой рекордной высоты за тридцать девять минут свободного полета.

Гидробиолог Петр Петрович Шишов, как и Гаккель, пришел к нам после экспедиции на «Сибирякове». Год назад он впервые начал изучать микроскопический животный мир полярных морей. Эту же работу ученый продолжал и на «Челюскине», с помощью специальных приборов и приспособлений добывая морской планктон с различных глубин.

— Следом за нами в ближайшие годы сюда придут зверобой и рыбаки, — говорил Петр Петрович. — Придут не вслепую, не на ощупь, а точно зная, где искать косяки рыбы и стада промыслового морского зверя. Хочется, чтобы они когда-нибудь вспомнили нас добрым словом...

Никто не посмел бы упрекнуть летчика Бабушкина за аварию «шаврушки»: такое случается и в лучших, чем наши, условиях. Но никто и не обязывал ребят ремонтировать разбитый самолет. А они, во главе с бортмехаником Жорой Валавиным, возились с ним день за днем на открытой палубе, на ветру, на морозе: склеивали, склепывали сломанные крылья, штопали продырявленную кабину, изобретали и сами делали новые детали взамен выбывших из строя. И до-

бились своего, восстановили «зеленую стрекозу», подготовили к новым полетам!

Можно было, конечно, не слишком налегать на текущий ремонт корабельных механизмов: кто знает, чем и как закончится зимовка в дрейфе... Но кочегары, машинисты и механики считали для себя делом чести постоянно содержать «Челюскин» в образцовом техническом состоянии. Постоянно, в любых условиях, всегда! И машинная часть корабля благодаря их стараниям выглядела не хуже, чем если бы пароход находился в судоремонтном доке.

Даже те, кто наверняка знал, что улетят на материк с первым же самолетом, продолжали трудиться наравне со всеми. Женщины шили теплые рукавицы, штопали белье и носки. Строители продолжали искать и думать, как бы еще лучше утеплить пароход. Зимовщики поровну делили с членами корабельной команды тяжелый физический труд. И естественно, ждали самолетов, хотя никто не говорил вслух, что ему хочется улететь.

А самолетов все еще не было, ни один самолет так и не смог пробиться к нам... Ляпидевский и Конкин несколько раз поднимали машины в воздух, летали, искали затерявшееся среди льдов судно, но короткие зимние дни и непрекращающиеся пурги неизменно вынуждали летчиков возвращаться назад на Уэлленский аэродром...

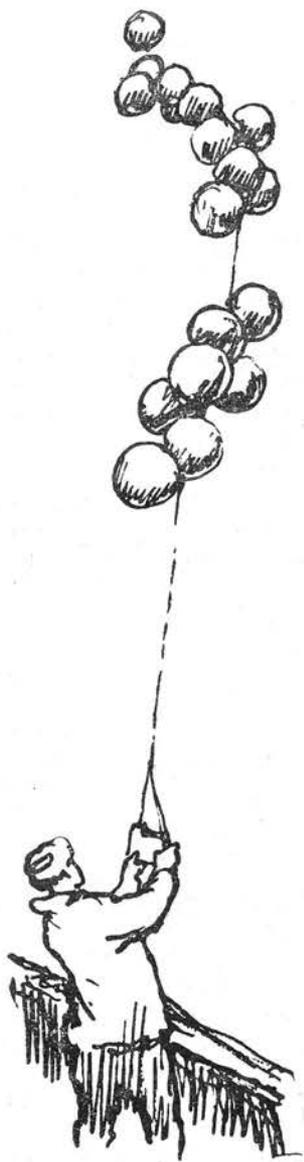
Так и декабрь прошел, и наступил морозный, злой от колючих ветров январь уже нового, 1934 года, а «Челюскин» все еще продолжал петлять вместе со льдами по суровому Чукотскому морю.

13 января мы опять украсили судно праздничными флагами расцветивания: в этот день восточный край неба запылал огромным кроваво-красным заревом, из которого вырвались чуть дрожащие в морозном мареве золотые лучи. Они трепетали, все выше и выше, вонзаясь в сумрачный небосвод, и вдруг голубовато-серый свет зимнего дня раскололся на миллионы сверкающих осколков: из-за горизонта всего лишь на несколько секунд выглянул краешек солнца.

Первое солнце в новом году!

Конец полярной ночи!

Солнце принесло с собой новую надежду на скорое освобождение из ледового плена. Снова начались разговоры



о весне, о том, что теперь самолетам будет легче добраться до «Челюскина». Михаил Сергеевич Бабушкин, назначенный начальником воздушных сил восточного сектора Арктики, даже отдал по радио приказ уэлленскому летному отряду подготовить машины для вылета к нам в первый же летный день.

— Есть ли у вас достаточно просторная посадочная площадка? — в ответ на этот приказ запросил Ляпидевский.

И Бабушкин велел передать ему одно только слово:

— Найдем!

Искать подходящую льдину пришлось немедленно, а найти ее оказалось очень не легко. Вокруг судна, куда ни глянь, громоздились горы — монбланы, гималаи, хаотические нагромождения ропаков и торосов. Выискать среди них не то что посадочную площадку для самолета, а хотя бы десяток метров ровной поверхности казалось немыслимым. О каком же аэродроме речь?

Но Михаил Сергеевич в ответ скептически поджимал губы:

— Вы что же, друзья, готовенькое летное поле хотите? Может, чтобы еще и ресторан с джаз-оркестром на нем был? Нет здесь такого. Будем искать, где поглаже, а окончательно выравнивать придется самим.

Поиски начались. Поодиночке и группами человека по три отправлялись «искатели аэродро-

мов» каждое утро на лыжах в ледяной хаос, весь день бродили, разыскивая хоть что-нибудь подходящее, а к вечеру возвращались на судно голодные, злые, и — будь оно проклято! — ни сотни метров ровного поля нет!

Очень заманчивыми казались недавние полыньи, успешные затянутаеь ровным и гладким льдом: лучшей площадки не придумаешь. Но опытный полярный пилот Бабушкин прекрасно знал, чем неизбежно закончилась бы попытка посадить машину в таком месте. Не только тяжелый АНТ-4, но и легонькую нашу «шаврушку» молодой лед выдержать не смог бы. Поэтому приходилось продолжать поиски только многолетних, толстых, с большим запасом прочности льдин.

Чтобы быстрее найти их, мы всю территорию льда, окружававшего пароход, разбили на секторы, и в каждый из них направляли по два лыжника с таким расчетом, что пять километров от судна они пройдут по прямой, потом свернут налево и пробегут еще три километра — до пересечения с лыжней соседней группы: это позволяло обследовать весь район в радиусе десяти километров от «Челюскина». А на такой большой территории подходящих льдин не могло не быть.

— Важно мало-мальски пригодную найти, — напутствовал разведчиков Михаил Сергеевич, — чтобы на ней ропаков поменьше. Ропаки срубим, обломки льда вывезем на санях подальше. Поработать, конечно, придется, но что же делать? Надо!

Надо... Сколько раз уже это короткое слово поднимало на борьбу, на труднейшую работу всех челюскинцев! Надо — и все становились участниками угольного аврала в Карском море. Надо — и превращались в добровольных подрывников. Надо — и вырубали гигантскую полынью вокруг судна во время стоянки у берегов Чукотки. Надо — и всю зиму живем в полуотапливаемых помещениях, лишь бы сберець к весне побольше угля...

А теперь надо было и найти и как можно скорее подготовить к приемке самолетов несколько посадочных площадок. Несколько потому, что, если сделать одну, а ее изломает сжатием, самолетам опять негде будет приземлиться. Значит, сделаем несколько аэродромов. Так, чтобы хоть один из них всегда был наготове. И впредь будем делать только так: сколько бы ни пришлось, хоть до самой весны!

Первый аэродром нашли в двух километрах к юго-востоку

от корабля. Осмотрели, измерили шагами вдоль и поперек — подходящий, только придется денька три-четыре поработать ломами и пешнями. Второй, в четырех километрах к северу, требовал большей затраты сил и времени. Зато третий, южный, хоть и находился в пяти километрах от парохода и дорога к нему была переторошена до невозможности, оказался лучше всех остальных: восьмисотметровой длины гладкая льдина, без единого тороса — хоть сейчас принимай тяжелые воздушные корабли!

С него и решили начинать: завтра пойдем пробивать дорогу к южному аэродрому. Потом разровняем, разгладим снежные заструги на нем, а там, глядишь, и Ляпидевский прилетит... Важно, чтобы он нашел «Челюскина», запомнил, каким курсом к нему добираться, и тогда дело пойдет. Ведь и свет уже с каждым днем держится все дольше и пурги свирепствуют реже, чем недавно, в декабре... Отправить бы на материк женщин, детей, больных и всех лишних на зимовке, тогда и нам стало бы поспокойнее и полегче дожидаться весны...

Полные радужных надежд разговоры за полночь продолжались и в кают-компании и в красном уголке команды. Разошлись ребята по каютам и улеглись спать поздно. А утром проснулись, и — будь она неладна, эта Арктика! — ветер рычит, воеет в снастях парохода, в воздухе месиво вздыбленного ураганом снега. Снова бесконечная, сутки за сутками, пурга...

После того как дрейф повернул в юго-западном направлении, он продолжал и дальше безостановочно кружить «Челюскина» по Чукотскому морю. Дни стали продолжительнее, но от этого не уменьшилась опасность, грозившая кораблю. Почти каждый день, а нередко и по ночам в непосредственной близости от корабля происходили подвижки льда. Страшные зрелища и чудовищную силу являли собой такие торошения, уничтожавшие и наши с невероятным трудом расчищенные аэродромы.

И приходилось опять разыскивать пригодные льдины, расчищать их от ропаков и выравнивать снежные заструги: ведь самолеты должны были в конце концов прилететь!

Особенно страшными бывали ледовые сжатия по ночам, когда в темноте всего лишь в десятке метров от борта ничего не было видно, а казалось, будто там вздыбился до небес

весь арктический лед и вот-вот всею тяжестью своей обрушится на песчиночку-судно...

...Ночь тянется бесконечно тревожно. И бесконечно тянется одинокая матросская вахта на палубе, когда ты обречен наедине с бездоньем неба над головой слушать тревожную и настороженную тишину. Мороз такой, что знобит даже в бараньем тулупе. Ветер срывает с планшира снег, со злостью швыряет в лицо, в глаза, за воротник. Дыхание вырывается изо рта облачком серого пара, инеем оседает на бровях и ресницах, на небритом подбородке. За день устал, очень хочется спать, а глаза нельзя сомкнуть ни на минуту. И самое тягостное: не с кем перемолвиться словом.

Нельзя и в теплый жилой коридор отлучиться, чтобы всем телом, лицом, задубевшими руками прижаться к горячему радиатору парового отопления.

Нельзя!

Потому что опять в этой враждебной темноте внизу может начаться сжатие, и я, вахтенный матрос, обязан немедленно сообщить о нем вахтенному штурману и капитану.

Так и брожу час за часом из конца в конец по спардечной палубе, по полубаку, по полуюту: слушаю. До боли в ушах вслушиваюсь в угнетающую ночную тишину: сжатие может обрушиться внезапно и молниеносно, как молниеносен и внезапен бывает разрыв сердца...

Кажется, где-то скрипнуло? Чуть-чуть? Да, это шорох, уже знакомый по прежним ночам, наползает ближе и ближе, словно кто-то невидимый шебуршит за бортом грудями бумажного хлама. Тотчас тулуп долой — и сломя голову мчусь по трапу вверх, распахиваю дверь штурманской рубки:

— Гаврилыч, началось!

Штурман Марков стремительно вскакивает с дивана, отшвыривает книгу и, нахлобучив меховую ушанку, бросается к выходу:

— Бежим!

Скатываемся вниз, на спардек, а там уже слышно, как льды движутся в темноте, трещат и скрежещут, будто стальными когтями царапают борта. И еще громче слышится треск, похожий на пулеметную пальбу или на одиночные взрывы гранат: это трещат шпангоуты, рвутся заклепки под натиском пришедших в движение ледяных монолитов.

На палубе уже полным-полно: люди стоят, кое-как оде-

тые, встревоженные, и тоже слушают, слушают и вздрагивают невольно одновременно с рывком «Челюскина». А мы со штурманом, засветив фонари «летучая мышь», по штурмтрапу спешим за борт, где под ногами, как живые, шевелятся и тяжко дышат клыкастые чудовища — льдины.

С палубы перевешивается через фальшборт и что-то кричит капитан Воронин. Слов не разобрать, голос тонет в шуме и скрежете льдин, но нам с Михаилом Гавриловичем и без слов понятна его нетерпеливая тревога. Подсвечивая тусклыми, подслеповатыми фонарями, чтобы не угодить в трещину, не провалиться, мы шаг за шагом бредем вокруг судна и видим, как огромные льдины, встав на дыбы, карабкаются выше и выше по гладкому борту, в слепой, безумной ярости торопят добраться до палубы корабля. Мы бессильны перед их яростью, мы только смотрим и слышим, как от напора оживших чудовищ «Челюскин» то болезненно стонет, то весь дрожит, то рывками пятится назад, будто пытается вырваться из тисков.

— Давай наверх! — в самое ухо кричит мне Марков, а я едва слышу его. — Зови на палубу всех. Предупреди, чтобы теплее одевались!

— Значит?..

— Давай быстрее! — нетерпеливо машет рукой штурман. — Сам видишь, что делается!

И я бегу по жилым коридорам, стучу в двери кают, бужу всех, кто еще не проснулся:

— Эй, ребята! Опять жмет! Приказано всех наверх...

Люди спешат по залитым электрическим светом коридорам к выходу на палубу. Встревожены, но без тени панического страха на лицах. Со спящей Каринкой на руках проходит Дора Васильева. Ведет за ручонку еще не совсем проснувшуюся Аллочку вся собранная, вся напряженная Лида Буйко...

А на палубе молча стоит в стороне, наблюдая за всеми и все видя, невозмутимо-спокойный, готовый к самому худшему Отто Юльевич Шмидт. Он знает: сто четыре пары глаз смотрят в эти минуты на него, сто пятого, и от его спокойствия зависит спокойствие и жизнь всех.

Но, кажется, натиск льдов постепенно начинает слабеть. Не слышно больше ударов по корпусу судна. И скрежет и грохот за бортом стали как будто потише.

— На сегодня, пожалуй, пронесло, — ворчит капитан в обледеневшие усы. — Михаил Гаврилович, пошлите матроса проверить, не прибывает ли забортная вода в трюмах. Однажды он так же решительно приказал и мне:

— Кончите вахту — зайдите. Надо поговорить.

Зайти? Зачем? Не спросишь: приказано — надо идти. И переодевшись, я через полчаса постучался в дверь капитанской каюты.

Владимир Иванович сидел за столом в просторной и скупо освещенной каюте, и на столе перед ним остывал забытый стакан крепкого чая. Он поднял на меня бесконечно усталые, с белками в красных прожилках глаза и коротко мотнул головой на свободный стул напротив:

— Садитесь. Чаю хотите? А впрочем, — понимающая улыбка чуть тронула его каштановые усы, — после такой собачьей вахты и самым горячим чаем не согреешься.

Воронин поднялся со стула, достал из шкафчика и поставил на стол бутылку вина, бросил пачку «Северной Пальмиры», опять сел.

— Погрейтесь. И можете курить. Я ведь ни тем, ни другим не балуюсь...

Он долго молчал, то ли не зная, с чего начинать разговор, то ли собираясь с мыслями. Наконец спросил:

— Домашние пишут ли?

— От мамы недавно получил радиogramму...

— А мой ни строчки. Володька. Такой же, как вы; может, годом-двумя помоложе.

И вдруг привалился широкой грудью к краю стола, переплел красные от морозов пальцы могучих рук, глянул в мои глаза, как в душу:

— Хотел бы сейчас с матерью быть? Не здесь, а дома? Чтобы ни льдов вокруг, ни собачьих вахт, ни этого «потонем или не потонем»?

— Разве я лишний на корабле? Или на маменькиного сынка похож?

— Нет! — Воронин откинулся на спинку стула. — Иначе зачем бы звал? Володьку своего вспомнил. Жену тоже. Вижу их неделю в году, не чаще, остальное — в море. И ты такой жизни хочешь?

— Хочу...

— А если потонет наше корыто?

— Я уже побывал в аварии. У берегов Шпицбергена, с капитаном Немчиновым.

— Слыхал от Ивана Куприяновича, потому и на «Челюскина» тебя звал. Не жалеешь, что пошел?

— Наоборот, рад.

Владимир Иванович рассмеялся:

— Ну, радость невелика. Больше мороки. Эх, лишних бы нам ссадить, когда возле Колючина были! С одной бы командой беда не в беду: выдюжим. А гляну на Алку да на Каринку — и сердце сожмет: такие-то муки пылинкам...

Он долго молчал о чем-то своем. Молчал и я, теперь уже понимая, зачем понадобился этому сильному и одинокому человеку. На людях — скала неприступная, один на один с самим собой — тоскливо, дышать от одиночества нечем. А переломить свой характер, открыться людям не в силах...

На миг даже жалко стало. Хотелось сказать: «Нельзя же так, невозможно так жить!»

Владимир Иванович будто почувствовал эту невысказанную жалость, нахмурился, свел в узел брови:

— Однако поговорили, будет. Иди себе отдыхать. В другой раз без зова приходи: вдвоем помолчим, ладно?

Ушел я к себе со странным, с каким-то раздвоенным чувством. Грустно было за капитана и радостно оттого, что смог и сумел немножечко, самую малость облегчить его одиночество. Такое бывало у нас и потом, на других кораблях, и в годы Отечественной войны, когда мы вот так же молчали в его каюте в тяжелые дни боевых походов. Характер складывается у таких людей однажды, но на всю жизнь. И трудно, когда такой человек одинок...

А вечером всех коммунистов и комсомольцев созвал к себе Отто Юльевич Шмидт. Он начал сразу, без обиняков:

— Может случиться, товарищи, что при одном из очередных сжатий «Челюскин» будет раздавлен и погибнет.

И после маленькой паузы продолжал:

— Прошу коммунистов и комсомольцев без шума, по возможности по ночам, приготовить все необходимое на случай высадки на лед. Почему по ночам? Нет нужды раньше времени тревожить весь экипаж, вызывать, возможно, напрасные волнения: не исключено, что зимовка пройдет и закончится благополучно. Но наша обязанность быть готовыми и к самому худшему, к катастрофическому окончанию экспедиции.

В таком случае мы должны заранее обеспечить людей всем необходимым для ожидания помощи на льдине.

Два человека, два руководителя, а какое разное у них отношение к тому, что, быть может, ожидает нас всех в самые ближайшие дни... Воронин страдает, ночи не спит, весь, как струна, натянут: женщины, дети, есть и слабые и больные на борту! Шмидт поразительно спокоен и дальновиден: обеспечить людей всем необходимым для жизни на льду. А знает ли капитан об этом решении начальника экспедиции? Не может не знать: они всегда и все решают вместе. Так почему же он сам ничего не сказал мне об этом?

Ответа не было, а спрашивать не пойдешь...

Мы так и работали: по ночам. В сотне метров от судна разбили и оборудовали для жилья армейского образца брезентовую палатку. Еще два десятка таких палаток, парусиновые мешки с комплектами меховой одежды, обувь и нижним бельем сложили в левом крыле капитанского мостика. На корме приготовили брезентовые кули с каменным углем, бочки с жидким горючим, чугунные камельки, а на третьем трюме вырос целый склад с двухмесячным запасом продуктов.

За каждую часть аварийного снаряжения отвечал определенный человек. Могилевич — за продукты, Канцын — за одежду и обувь. Гуревич — за хозяйственное оборудование и инструменты, Кренкель — за переносную аварийную радиостанцию и аккумуляторное питание к ней. Шмидт сам проверял все, что сделано, и чаще, чем прежде, подолгу беседовал с глазу на глаз с Ворониным то у себя, то у него в каюте.

А жизнь на «Челюскине» шла тем временем своим чередом. Зимовка не прекратила и не нарушила занятий в общеобразовательном кружке строителей, организованном еще в Карском море. Тогда они с трудом одолевали крупный шрифт в книгах для детей и имели более чем смутное представление о четырех действиях арифметики. Теперь же, к концу января, благодаря настойчивости добровольных учителей легко решали арифметические задачи и разбирались в началах геометрии. На географической карте каждое море и каждый материк впервые обрел для печников и плотников свое точное место. А мягкий знак смело встал в шеренгу

букв в словах, отвечающих на вопросы «что делать» и «как быть».

Нашлись преподаватели и для матросов и кочегаров, готовившихся в морские техникумы и мореходные училища. Ими стали не только штурманы и механики, но и студенты морских вузов, проходившие на «Челюскине» производственную практику.

В кают-компании тоже работал «плавающий вуз»: почти все научные работники и многие члены команды изучали немецкий и английский языки. А кроме того, профессор Шмидт регулярно читал лекции по высшей математике, чередуя их с глубоким и обстоятельным разбором важнейших вопросов и проблем марксистско-ленинской философии.

Но даже и этого всего нам казалось мало. Ведь многим из нас, молодых, предстояло вскоре после экспедиции идти на действительную службу в Красную Армию. Почему бы не использовать зимовку для изучения оружия, теории и практики боевой стрельбы, приемов рукопашного и штыкового боя? Тем более что и оружие и боеприпасы на судне есть и командир боевой подготовки — лучше не надо: недавний танкист Сандро Погосов!

Ох, и взялся же он за нас... Снег ли мел, мороз ли терзал носы и щеки — все равно в установленный час по жилым коридорам корабля разносился трубный глас неугомонного командира:

— Солдаты, на лед! На сборы две минуты!

А на льду, на огороженном флажками стрельбище по левому борту судна новоиспеченных «солдат» уже ждали фанерные мишени. Били по ним и стоя, и с колена, и лежа, распластавшись на снегу. Сверху, с палубы, за нами наблюдали свободные от стрелковой подготовки «старики»; и горе тому, кто «мазал»: град ехидных насмешек сыпался со всех сторон.

Впрочем, деление на «болельщиков» и «огневиков» продолжалось недолго. Вскоре и старпом Гудин захотел стать «огневиком», и инженер Ремов, и известинец Громов. А за ними потянулись на стрельбище и остальные болельщики. И с тех пор на стрелковые занятия спускалась с парохода на лед целая вереница «потенциальных снайперов», впереди которых под громкое «а-а-а!» нередко шагал Отто Юльевич Шмидт.

А заядлые охотники продолжали мечтать о добыче...

— Ну какая же это Арктика? — канючили они. — Полу-дурок-медведь в Карском море, и все? Так он сам на Борькину пулю наткнулся, разве это охота? Занесла нелегкая к черту в зубы, тут не то что медведя — песка задрипанного не встретишь. Будь мы ближе к берегу, там — да. А здесь ни одного уважающего себя зверя и в помине быть не может.

Федя Решетников с самым сочувственным видом выслушивал эти жалобы и иной раз поддакивал:

— Да-а... На медведя и я бы сходил...

Каково же было всеобщее удивление, когда как-то утром вахтивший на палубе Геша Баранов ворвался в столовую во время завтрака и с порога во весь голос закричал:

— Ребята, медведь! Ночью возле самого борта бродил, в мусоре рылся! Следы — во, два моих валенка в один влезут!

Из столовой всех точно ветром выдуло: бегом на палубу — где следы?! А следы, огромные, глубокие, словно какой-то гигант босиком бродил по снегу, ровной цепочкой тянулись откуда-то издалека к борту судна, к разрытой куче мусора, а от нее опять уходили куда-то в неведомую ледяную даль. Появились они и на следующее утро и еще через день, совсем свежие, будто зверь приходил перед самым рассветом. И охотники окончательно потеряли покой.

— Где один бродит, там и еще будут, — ликовали завятые «медвежатники» Могилевич и Марков. — От нас не уйдут!

И вдруг однажды, багровый от распирающей его гордости, кочегар Вася Громов приволок на судно пушистого снежно-белого песка!

— Видали? — победно размахивая чудесным трофеем, хорохорился он. — Что там ваши моржи, тюлени и медведи? Мелкота! Вот как надо охотиться: прицелился, бац — и готово!

Что только не изобретали ребята, чтобы заполучить такую же добычу! Мастерили самодельные капканы, хитроумные ловушки, изыскивали самую лакомую для песцов приманку, ожесточенно, до хрипоты, спорили, где вернее и лучше расставлять новейшие зверобойные приспособления и западни...

Глядя на все это, Отто Юльевич посмеивался:

— Скоро вокруг судна ходить будет опасно: того и гляди попадешь в капкан...

Но Миша Ткач решил перехитрить всех:

— Кооперироваться надо, тогда дело пойдет. Один сможет утром капканы осматривать, другой вечером. Давай вместе!

Я согласился:

— Давай.

И мы поставили свои капканы подальше, милях в двух от корабля. На третью, кажется, ночь в один из них попался первый, а на моем веку и последний, песец. Он так метался утром при моем приближении, так жалобно и обреченно молил о пощаде, что я не смог подойти, а повернул лыжи — и бегом назад, на судно. Миша даже присел от удивления, услышав, что я думаю о нем, о несчастном песце и о самом себе. А выслушав, упрямо мотнул головой:

— Черт с тобой! Считаю, что ты уволен из артели без выходного пособия. Обойдусь!

И обошелся. И продолжал охотиться один. И добыл три песцовые шкурки. А я никак не мог забыть глаза и крик того песца...

Один человек на корабле оставался равнодушным к песцовой охоте: председатель судового комитета Иван Румянцев.

— Разве песец добыча? — пренебрежительно отмахивался он. — Дуррак, сам в капкан лезет. Вот медведь — это да, это зверь! Еще вопрос, кто кого раньше ухлопает: ты его или он с тебя шкуру снимет. И нерпа достойна внимания: осторожная, хитрая. Чуть шевельнулся — поминай как звали! Только круги пойдут по воде!

— А ты попробуй добудь нерпу, — подзуживали ребята. — На словах каждый горазд.

— Скажете, не добуду?

— И не берись.

— Может, поспорим?

— Идет!

И мы поспорили с Иваном.

На следующее утро, потеплее одев-



шись, Румянцев взял винтовку с запасом патронов и отправился к успевшей затянуться молодым ледком полынье. Улегся на кромке ее за ропак, пристроил удобнее винтовку и принялся терпеливо ждать добычу. Ждал долго, промерз до костей, решил погреться табачком и, вытащив из кармана трубку, начал ее набивать.

Вдруг тоненько теленькнул взломанный ледок в полынье и близко от кромки, всего лишь в нескольких метрах от охотника, из воды показалась черная, гладкая, усатая голова нерпы.

Иван потянулся к винтовке, прицелился, выстрелил, но...

— Но выстрел не получился, осечка, — рассказывал он, возвратившись на судно и все еще лязгая зубами от холода. — А нерпа, дрянь, не стала ждать: нырк — и нету! Теперь ни за что не вернется...

Мы слушали горестное повествование и сочувствовали Ивану: надо же, чтобы так не повезло! Только Федя Решетников улыбался с откровенным недоверием.

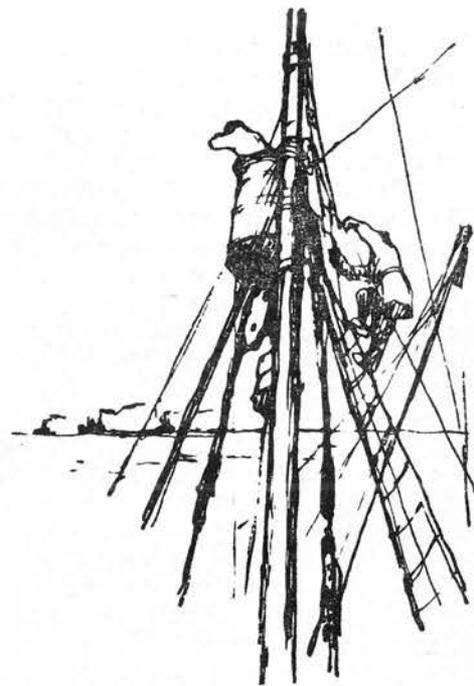
— Знаешь что, — сказал он, — давай не будем заливать.

— Чего?! — возмутился Румянцев.

— А так. Я ведь рядом с тобой лежал, за соседним ропак. Все, как было, собственными глазами видел.

— Ну и что?

— То и есть. Верно, вытащил ты трубку. И махорки в нее натолкал. Даже спички успел достать, чтобы прикурить. Так ведь?



— Так.

— А дальше что было? Признайся...

— Да не тяни ты, — взорвался Иван, — говори!

— И скажу, — Федя решительно повернулся к сгорающим от нетерпения ребятам, — все скажу, чтобы попусту не травил! Только, значит, собрался Румянцев чиркнуть спичкой, как вдруг появляется нерпа, подплывает к нему и просит: «Дяденька, миленький, дай и мне закурить...» Как подхватится наш Иван, как заорет: «Катись, балда, ко всем чертям, не мешай охотиться!» Тут уж и нерпа не стерпела, обиделась. «Сам ты, — говорит, — балда старая, махорочки пожалел!» Шлепнула ластами по воде — и под лед. Что, Ванюша, разве не так было?

Песцы и нерпы поневоле отвлекли внимание охотников от арктического «хозяина» — медведя: медвежьи следы не убьешь, а добыть песцовую шкурку каждый не прочь. Но два человека в экспедиции — зоолог Стаханов и охотовед Белополюский — продолжали горячо интересоваться ночными визитами полярного гостя. Они обнесли веревками, натянутыми на колышки, участок снега с отпечатками гигантских лап, и то измеряли следы с точностью чуть ли не до миллиметра, то спорили, кто их оставил, — самка или самец, то что-то старательно записывали в свои научные дневники. Ребята подтрунивали над спорщиками:

— А вы попросите хорошенько, так, может, вам мишка свою фотографию с автографом пришлет. Все лучше, чем по его следам на брюхе ползать...

Но когда в одну из очередных ночей зверь действительно оставил «автограф», острыми когтями исцарапав нижние ступеньки спущенного на лед трапа, охотничий азарт вспыхнул с удвоенной силой. Охотники по ночам дежурили на палубе, подстерегая осторожного хищника. Днем наперегонки мчались по свежим следам, всякий раз обрывавшимся почему-то на участках льда, где не было ни крупинки снега. А дотошный, изобретательный Юра Морозов, решив действовать наверняка, спустил из своего иллюминатора на веревке до самого льда кусок мяса, а к другому концу веревки, в каюте, привязал колокольчик:

— Придет, начнет жрать, вот тут-то я его и трахну!

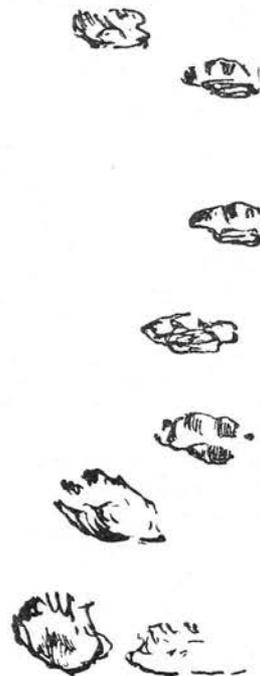
Однако медведь оказался хитрее, предусмотрительнее и дальновиднее всех самых хитрых и изобретательных своих



врагов. Он так чистенько и ловко снял с веревки и унес приманку, оставив при этом под иллюминатором множество следов, что Юра, всю ночь продремавший вполглаза, не услышал ни звона колокольчика, ни хотя бы шороха снега внизу.

Быть может, визиты ночного гостя продолжались бы и дальше, если б не Гриша Дурасов, во время уборки снега с палубы обнаруживший за одним из ящиков пару самых настоящих «медвежьих» ступней. Аккуратно выпиленные из доски, обитые войлоком и брезентом, с большими гвоздями вместо когтей, они-то и оставляли на снегу взбаламутившие всех охотников звериные следы...

Стаханов и Белополюский с досадой вырывали «исследовательские» страницы из сво-



их дневников. Охотники на все лады ругали неизвестного, больше недели водившего их за нос. И только когда вышел очередной номер стенной газеты, стало ясно, кто учинил весь этот веселый медвежий переполох: в газете был помещен иллюстрированный фельетон «Научная работа наших зоологов», подписанный более чем скромно: «Федя, которого приняли за медведя...»

Январь миновал. Наступил февраль. Все выше и все ослепительнее всплывало зимнее солнце над белым безбрежным ледяных полей.

И часто казалось: еще месяц-другой, и выйдет «Челюскин» на чистую воду, пойдет как ни в чем не бывало к родной советской земле...

## Все на лед!

Все оставалось как будто без перемен. Только в начале февраля впереди судна, левее, открылась, но вскоре замерзла широкая полынья, и вахтенные матросы получили приказание внимательно за ней наблюдать.

На корабле по-прежнему текла размеренная и устоявшаяся зимовочная жизнь.

Сменялись вахты на палубе, в кочегарке и в машинном отделении. Заготовительные бригады посменно рубили и растапливали в железной бочке лед для нужд экипажа и для обогрева парохода. С прежней увлеченностью трудились ученые. Продолжались поиски и расчистка аэродромов.

А самолетов все не было...

Так и 13 февраля пришло. В тот день на палубе дежурил Виктор Синцов. Время от времени он поднимался на полубак и всматривался в сторону покрытой тонким льдом полыньи: сжатия начинаются там, где лед послабее, потоньше. Но полынья вела себя спокойно. Лишь по извилистому краю ее, словно кружевная оторочка, протянулся едва заметный валик слегка наторошенного молодого льда. Или это только казалось Виктору?

Незадолго до обеда Шмидт и Воронин тоже вышли на палубу. Постояли, послушали: тихо ли? Было тихо, и все-таки Отто Юльевич сказал:

— Как бы к вечеру на полынье не начало торосить.

— Может, и раньше: вон какой ветер, — ответил капитан. И, обращаясь к Синцову, распорядился: — Вызовите матроса с подвахты, поставьте дополнительным наблюдателем. Пускай глаз с полыньи не сводит: не нравится мне этот цирк.

Но до обеда все оставалось без изменений, а после обеда все разбрелось по каютам отдыхать. Ко мне заглянул третий помощник капитана Борис Виноградов. Присел к столу, щелкнул пальцами по деревянной коробке с шахматами, предложил:

— Рубанем партиюку?

Я согласился:

— Можно...

И, расставив фигуры, мы углубились в игру.

— Теперь вас до ночи не растащить, — насмешливо фыркнул Миша Ткач, укладываясь в койку: «припухнуть», как он говорил, «коротеньких сто двадцать минуток».

Мы с Борисом продолжали играть...

Сизыми струйками вился к низкому потолку папиросный дымок. Сквозь иллюминатор, обросший льдом и инеем, снаружи доносились переливистые голоса беснующейся пурги. Неярко светила привинченная к переборке керосиновая лампа. И от всего этого в каюте было так тепло и уютно, что мы со штурманом чувствовали себя совсем по-домашнему, хорошо и спокойно.

Шахматная партия близилась к победному для меня концу, когда тишину и покой вдруг оборвал гулкий удар в корпус судна.

— Ого! — удивился Виноградов. — Неужели еще шпангоут лопнул?

Над головой, по спардеку, застучали, затопали куда-то торопящиеся люди.

— Как тараканы забегали. Значит, жмет, — сразу проснулся и начал быстро одеваться Ткач.

Опять и под самым иллюминатором и у нас под ногами посыпались частые удары в корпус...

Судно задергалось, будто в конвульсиях, застонало, как живое...

Откуда-то снизу, из глубины, донесся нарастающий странный грохот...

Мишук выскочил из каюты. Борис, бледнея, поднялся с дивана:

— Пошли?..

— Мат! — Я сшиб с доски его короля. — Айда наверх!

Виноградов помчался к себе. Натянув теплую куртку и сунув ноги в валенки, я выбежал в пустой коридор. Здесь отчетливее, чем в каюте, слышалась дробь рвущихся из пазов заклепок, грохот лопающихся шпангоутов. Весь этот шум сливался со зловещим скрежетом льдин, тысячетонными таранами напирających на скорлупку уже обреченного парохода.

«Все, — по ассоциации с недавней игрой мелькнула мысль, — «Челюскину» шах и мат...»

Страшно стало от своего одиночества в пустом, насквозь продуваемом морозными сквозняками коридоре. Спасаясь от этого одиночества и страха, я припустился к выходу — скорее на палубу, к людям!

А люди уже работали и на палубе, и на спардеке, и на капитанском мостике, залитых мутным, как белый дым, светом пургового дня.

— Шесть человек на лед, установить лоток! — слышался бас капитана Воронина.

Вместе с другими, прямо по пеньковому тросу я скользнул вниз, и мы тут же приняли на руки конец спущенного с палубы тяжелого деревянного лотка. Только вчера закончили сколачивать его, чтобы удобнее и быстрее было сбрасывать груз, а сегодня лоток уже пригодился...

Лед возле борта, под ногами, трескался, льдины, шипя и хрустя, переворачивались на ребро и исчезали под корпусом судна. «Челюскин» медленно пятился под их натиском, и конец лотка приходилось то и дело подтаскивать следом за ним...

А по лотку уже летели сверху ящики с консервами и маслом, мешки с сахаром и мукой. Подбежали еще ребята, начали выстраиваться в очередь, и мы с инженером Ремовым принялись взваливать груз им на плечи.

Работали быстро, без слов. Один за другим подходили носильщики: длинный, с избитым оспой лицом дневальный Лепехин; маленький, щуплый, точно подросток, машинист Петров; коренастый, широкоплечий, немолодой плотник Голубев. Самые тяжелые ноши, пятипудовые мешки с сахарным песком взваливали на свои плечи «человек в Полторы лоша-

динные силы» матрос-гигант Гриша Дурасов и кочегар Вася Громов. И тут же торопливо уходили прочь от судна, через несколько шагов исчезали в беснующемся, взвихренном мессиве непроглядной пурги.

Стало жарко от этой спешки, занемели уставшие руки. Кто-то подменил нас с инженером на навалке, и я, подхватив какой-то ящик, вслед за другими носильщиками побрел по глубокому снегу в сторону от корабля, ничего не видя перед собой. Временный склад — вернее, свалка груза — внезапно вынырнул из пурги, и, сбросив к нему свою ношу, я бегом помчался назад, за новой.

Ватные куртки мешали, связывали движения. Скинув их, мы продолжали работать в насквозь пропотевших свитерах. Тридцатиградусный мороз и штормовой ветер быстро сковали их, превратив в рубчатые панцири, покрытые пушистым инеем. Но даже голым, без рукавиц, рукам не было почему-то холодно ни на морозе, ни на валящем с ног ветру.

— Четверо на корму, сгружать бочки и уголь! — позвал сверху, с палубы, помполит Бобров.

Я оказался ближе к трапу и тоже вскарабкался на корму, где находился упакованный в брезентовые мешки уголь и стояли бочки с керосином. Уголь смерзся, мешки стали угловатыми, металлически твердыми, неудобными для подхвата, и все же один за другим летели по лотку за борт. За ними скатывались бочки.

— Наддай, ребятки, наддай! — хрипел от натуги Сандро Погосов, хотя мы и без того метались, как угорелые.

А когда все мешки и все бочки были за бортом, к нам подбежал старший помощник капитана Гудин.

— Давайте в провизионку, в трюм! — запыхавшись, прокричал он. — Пока можно, помогите Могилевичу выгрузить побольше сахара и риса...

Только теперь, пока бежали к третьему трюму, мы смогли чуточку передохнуть и оглядеться.

— Смотри! — схватил меня за плечо Погосов. — Смотри, что делается!

Стало как будто чуть-чуть посветлее, потише. Взвихренная ветром стена снега словно бы поредела, отодвинулась от корабля. Я бросил взгляд туда, куда указывал Сандро, и невольно присел от жуткой неожиданности: по левому борту судна, в том месте, где утром находилась гладкая площадка

молодого, припорошенного снежком льда на полынье, сейчас все выше и выше вздымался гигантский ледяной вал, неумолимо и безостановочно двигавшийся прямо на пароход! Крутая, шевелящаяся вершина его, точно гребень оледеневшей морской волны, то и дело заламывалась вниз, осыпаясь каскадами ледяных обломков. А вал продолжал двигаться и расти на глазах...

Я замер, не в силах оторвать глаз от этого одновременно и страшного и величественного зрелища. Рядом с громадой ледяного вала «Челюскин» казался беспомощной, хрупкой лодочкой. И только теперь я поверил и понял, что судно действительно доживает свои последние минуты...

Сандро тронул меня за плечо:

— Пошли... Могилевич ждет...

Сбежав по крутому узкому трапу на самое дно полутемного трюма, в провизионку, мы увидели завхоза и Мишу Филиппова, Валю Паршинского, Степу Фетина. Из разных концов провизионного склада они торопливо подтаскивали к площадке под раскрытым люком ящики и мешки с продуктами.

— Кто здесь командует парадом? — крикнул Погосов. — Что надо делать?

— Сахар и рис наверх, — не оборачиваясь, ответил Могилевич. — Пока можно, старайтесь побольше сахара.

Пока можно... А что будет со всеми нами, когда минует, промелькнет это самое последнее, самое критическое, единственно возможное «пока»? Не просто и вовсе не скоро выбраться по крутому железному трапу из многометровой глубины трюма на палубу, откуда один шаг, один прыжок до спасительного льда. Сколько времени еще будет продолжаться агония корабля — час, полчаса или... считанные минуты? Ведь ледяной вал подкатился совсем близко...

Я бросил взгляд на напряженно работающих ребят. О том же, конечно, думают и они. Но ведь не зря же, не по прихоти Могилевича послали всех нас сюда! Не случайно послали только коммунистов и комсомольцев! Работать надо: пока можно, надо работать!

И мы продолжали работать: выворачивали из штабелей, не чувствуя веса, подтаскивали многопудовые мешки к площадке под зевом люка, быстро обвязывали их канатом, и тя-

желые ноши одна за другой уплывали наверх, куда их вручную вытаскивали оставшиеся на палубе ребята.

Работали и тогда, когда под ногами на подтоварке вдруг показались, стремительно побежали под уклон живые, как змеи, все увеличивающиеся ручейки темной воды. Борис уже шлепал по ней прямо в валенках, разбрызгивая лужи, а мы продолжали работать...

По резкому наклону палубы чувствовалось, что с каждым рывком «Челюскин» погружается все больше и больше. Мы только позднее, поднявшись наверх, узнали, что к этому времени весь левый борт его, от форпика до машинного отделения, был уже разорван напором льда. В носовые трюмы и даже в каюты сквозь этот разрыв вместе со льдом хлынула вода, в машинном отделении сорвало с места холодильник и опреснитель, сдвинуло с фундаментов котлы, полопались паропроводы.

А мы в глубоком трюме все еще продолжали работать...

Не поняли, отчего вдруг за стальным бортом стало странно, удивительно тихо. Даже не сразу поверили в эту тишину: откуда она, почему? И тоже позднее узнали, что льды, раздавившие пароход, внезапно и необъяснимо прекратили движение, будто до конца израсходовав всю свою слепую, необузданную силу.

Но вода в нашем трюме по-прежнему прибывала, она уже почти доходила Могилевичу до колен.

— Давайте наверх, ребята, — сказал Борис. — Пожалуй, пора...

А сам и не думал торопиться. Попыхивая трубкой, уселся на край полки, сбросил насквозь промокшие валенки и носки и вместо них начал натягивать на ноги рыбацкие сапоги — бахилы с высокими, как у ботфортов, голенищами.

— Зачем тебе сапоги? — удивился я. — Не сможешь ходить, будет очень скользко. Надень лучше валенки, в них теплее.

— Чудак, — усмехнулся Могилевич, — на льду ли бояться холода? Зато сапоги не скоро износятся и никогда не промокнут.

Он встал, потопал ногами и мотнул головой в сторону трапа:

— Шагай, я за тобой.

Из трюма мы поднимались последними, остальные ребята были уже наверху. Не знал я, не мог и Борис предполагать, что этот наш с ним разговор о бахилах был тоже последним: проклятые сапоги в тот памятный навсегда день погубили чудесного нашего завхоза...

Мы выбрались на палубу, огляделись. Вал с левого борта судна — не вал, а гора в пятнадцать метров высотой — не двигался больше, замер. Пароход уже так накренился на нос, что полубак почти сравнялся с поверхностью ледяного поля. На первом трюме уныло и обреченно стояла забытая всеми «шаврушка».

На судне оставалось совсем немного людей. Весь аварийный груз был уже переправлен на лед, но Шмидт и Воронин не торопились покинуть корабль. Облокотившись на релинги спардека, Отто Юльевич внимательно наблюдал за нашей работой и прислушивался, как Владимир Иванович отдает последние распоряжения. Могло показаться, что мысленно начальник экспедиции находится в эти минуты где-то далеко-далеко от происходящего перед его глазами. На самом же деле он и видел все и не забывал ни о чем важном.

— Владимир Иванович, не пора ли снять найтовы с бревен и досок? Они всплывут...

И мы принялись рубить канаты, скреплявшие лес на передней палубе.

— Товарищ Валавин, успеете сгрузить самолет?

И вместе с бортмехаником мы бросились к «шаврушке», подхватили ее, бережно, осторожно передали с рук на руки ребятам на льду.

А над «Челюскиным», над ледяными полями начали постепенно сгущаться зимние вечерние сумерки. Ветер стал резче, предвещая возобновление утихшей было пурги. Нос корабля почти продавил ледяные тиски, а корма поднялась так, что обнажился гребной винт.

И опять мы услышали спокойный голос Шмидта:

— Товарищи, можно забрать личные вещи и документы...

В левом жилом коридоре все перепуталось под ногами: чемоданы, обувь, одежда... Через распахнутые двери кают виднелся сплошной разрыв в корабельном борту, сквозь который ветер успел наместить груды снега. Я свернул в правый, пока еще целый коридор и ударом ноги распахнул дверь сво-

ей каюты. Лампа по-прежнему мирно горит, чуть покачиваясь на белой переборке... Шахматы так и лежат на столе рядом с пустой доской... И одеяло, как перед сном, отброшено на моей койке: ложись, отдыхай...

Выхватил из-под подушки комсомольский билет, сунул за пазуху, под свитер. Наскоро затолкал в чемодан свои и Мишкины вещи. Сорвал с обеих коек шерстяные одеяла. Что еще взять, не забыть что?

Дикой, нелепой вдруг показались и керосиновая лампа и несуразные шахматные фигурки на столе: будто зовут, приглашают присесть! И такая свирепая ярость нахлынула, что сгреб со стола шахматную доску, изо всех сил трахнул ею по лампе:

— Хватит играть! Конец!

Судно опять дернулось так, что через порог каюты плеснул язычок воды. Я подхватил чемодан, бросился к выходу — бегом, скорей — и, только выскочив на палубу, увидел, как ребята один за другим прыгают с борта вниз.

— Все на лед! — прогремел рядом голос капитана.

Чемодан полетел за борт. Следом за ним, вместе с последними прыгнул и я: ни лотка, ни трапа не было...

Тут стало видно, что нос парохода уже прорвал ледяные тиски и все быстрее уходит в глубину, а корма с такой же стремительностью вздымается к тускло-серому небу. Возле бортов судна, словно живые, кишели и шевелились обломки льда, заставляя нас пятиться. Шмидт стоял чуть подалее — прямой, будто застывший, а рядом с ним кинооператор Аркаша Шафран вертел и вертел ручку своего неразлучного аппарата. Только наверху, на палубе, все еще продолжали маячить фигуры Воронина и Могилевича. Почему же они медлят, не прыгают? Почему?!

Мы видели: еще мгновение — и будет поздно. И, перекрывая треск ломающихся льдин, вой ветра, шипение рвущегося из кочеварки пара, мы закричали что было сил:

— Прыгайте! Немедленно прыгайте! Мы поможем!

Губы капитана зашевелились, он что-то сказал завхозу. Борис отрицательно покачал головой. Воронин прыгнул, рядом с ним грохнулось скатившееся с палубы бревно, и мы едва успели оттащить капитана в сторону, подняли на ноги. А Могилевич все еще стоял на борту, сжимая в зубах давно потухшую трубку...

Стоял, крепко держась рукой за ванту, глядя на нас широко открытыми черными глазами, и тщетно пытался найти опору для ног на скользком, обледеневшем планшире. Эх, Боря, Боря, зачем ты надел эти проклятые бахилы! Ноги скользят, расползаются в стороны, а внизу еще яростнее бунтуются, кипят и скалятся клыкастые льдины.

— Прыгай, Борис! Прыгай!

Но Могилевич не прыгнул.

Корма поднялась так высоко, что палуба стала совсем крутой, почти отвесной. Трубка вдруг выпала из зубов завхоза, он метнулся ниже, к спардеку, где было вровень с поверхностью льда. В это мгновение с кормы на Бориса лавиной обрушились бочки с горючим, ящики, кирпичи. И в тот же миг он вместе с «Челюскиным» исчез под всклокоченным, вздыбленным льдом...

Медленно, неотвратно сходились льдины, закрывая полынь, над которой все еще клубилось облако черного дыма, сажи и угольной пыли, вырвавшееся из трюмов. Молча, оцепенело глядели мы, как оседает, рассеивается это черное облако, пока неожиданно резкий, повелительный голос начальника экспедиции не заставил очнуться, прийти в себя.

— Произвести переключку! — приказал Шмидт. — Товарищ Бобров, займитесь!

На вызовы помполита, выкликавшего нас по корабельному списку, отозвались сто четыре. Сто пятый тоже был назван: комсомолец, завхоз экспедиции Борис Могилевич. Но откликнуться не смог: он погиб вместе с «Челюскиным» в полтора километра от Чукотского побережья, на  $68^{\circ}18'$  северной широты и  $172^{\circ}50'9''$  западной долготы, в покрытом дрейфующими льдами море...

А мы, живые, все еще стояли, поеживаясь на пронизывающем ветру, и ожидали дальнейших приказаний. В сгустившихся сумерках короткого зимнего дня смутно вырисовывались груды разбросанных ящиков, тюков, бочек... Из быстро смерзающейся полыни торчали всплывшие с корабля бревна и бочки. Окружающий полынью снег почернел от осевшей на него пыли и сажи. Под нами, подо льдом — шестидесятиметровая глубина холодного моря. И от нас до ближайшего берега, до мыса Онман, — полтора километра непроходимых ледяных полей, трещин, ропаков, торосов и непреодолимых разводьев...



Было о чем задуматься, от чего зануть сердцу...

— Владимир Иванович, — снова обычным, спокойным голосом обратился Шмидт к угрюмо насупившемуся капитану, — люди устали, промокли...

— Что? — Воронин вздохнул, распрямил плечи, словно сбрасывая с них тяжелую глыбу раздумий.

Я стоял рядом с ним и видел, почти физически ощущал всю боль и горечь этого в самых трудных условиях не сгибавшегося человека: командир последним покидает гибнущий корабль, а самого последнего на борту «Челюскина» в минуту катастрофы — Могилевича — с нами нет. Но виноват ли Воронин, что спрыгнул в тот самый решающий миг, после которого — только смерть? Мог ли он знать, что именно в этот решающий миг трижды проклятые бахилы погубят Бориса?!

По-видимому, сам капитан и думал и считал иначе, а это тяжело, когда такого, как он, сурового человека один на один судит собственная совесть.

— Что вы сказали, Отто Юльевич? — с придыханием, каким-то осевшим голосом еще раз переспросил Воронин. — Простите, я не расслышал...

— Сто с лишним человек ждут ваших распоряжений, —

как-то особенно тихо, только для него, произнес профессор. — Действуйте, капитан, прошу вас. Люди ждут.

Даже теперь Шмидт сумел найти те единственные слова, тот самый нужный и самый искренний тон, которые вернули силы могучему, но надломленному неожиданным горем человеку. Воронин выпрямился, вздернул упрямый подбородок и громкий голос его перекрыл вой пурги:

— Не стоять, не мерзнуть! Приступить к разбивке палаток! Раздать людям спальные мешки!

Только три фразы, а как они были нужны нам, как сразу вернули жизнь! Все разбежались к тюкам, припорошенным снежной крупой, — и закипело!

Ветер трепал, рвал из рук неподатливый, жесткий брезент палаток. Ноги проваливались, вязли в глубоком снегу. Люди шатались от усталости, падали, но поднимались и продолжали борьбу с ветром и морозом. И хотя ночь успела сгуститься над ледяными полями, мы и в ночной темноте работали яростно, без передышек, одно за другим возводя временные пристанища.

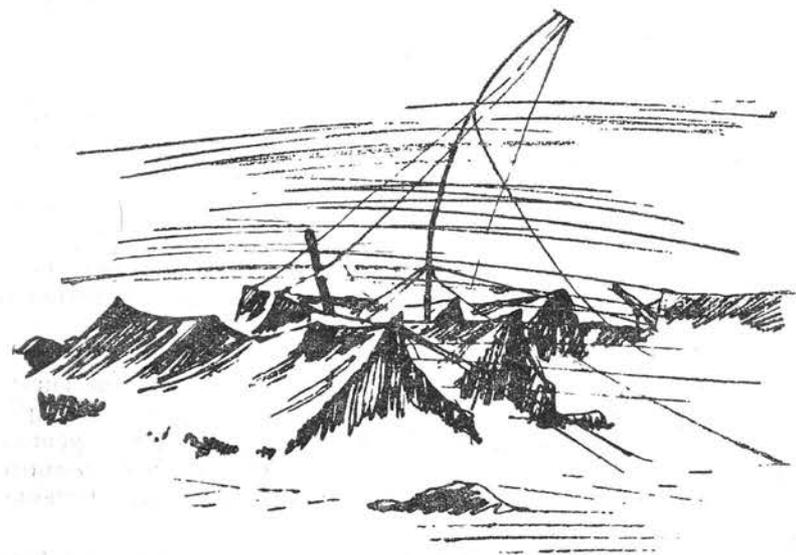
Прежде всего укрыли в палатках всех пожилых, ослабевших, выбившихся из сил. И только после этого сами ползком забрались под кое-как растянутый брезент. Промерзшие, насквозь заиндеветавшие палатки совсем не давали тепла, лишь чуть прикрывали от прямых ударов жестокого ветра. Мы до отказа набились в них, натянули меховые малицы, залезли в спальные мешки, но и от этого почти не стало теплее. Тесно прижавшись друг к другу, лежали курили, ругали мороз и ветер и только после полуночи начали отогреваться, дремать...

— Суслики, не найдется ли местечка на двоих? — очнулся я от дрожащего, насквозь замороженного голоса второго радиста Симы Иванова.

— Полно у нас, не шевельнуться, — ворчливо отозвался Ваня Нестеров.

— Полно? — Сима уже пролез в палатку, присел на корточки. — А нам с Кренкелем куда прикажешь деваться? Пока возились с аварийной рацией, нигде свободного места не осталось. Ничего, до утра потеснимся...

Пришлось потесниться, чуть ли не лечь друг на друга, освобождая площадь побольше не только для Кренкеля и



Иванова, но и для их громоздких ящиков с аварийной станцией.

— Справитесь сами? Или помочь? — предложил Володя Задоров.

— Спице, ребята, спице, — отказался от нашей помощи Эрнест, — управимся... Нам не до сна, «колдовать» будем: может, удастся связаться с берегом.

Как радисты расставляли аппаратуру, не знаю: усталость и сон скоро сморили нас всех. А «колдовать» им пришлось всю ночь. Кренкель отчетливо слышал тревожную переключку, непрерывные вызовы раций Уэллена и мыса Северного, но ответить не мог: короткая антенна не доносила до берега слабенький голосок лагерного передатчика, впервые пытавшегося выйти в эфир. Да и ближайшие наши соседи, американцы, по-своему «помогали» этой беде: всю ночь, не умолкая ни на минуту, на челюскинской волне гревели и глушили наш голос фокстроты и танго, которые вопреки всем божеским и человеческим законам передавала мощная радиостанция в Номе на Аляске.

Что это, случайное совпадение? Едва ли. Скорее вот что: каждый по-своему относится к горю других...

С первыми проблесками рассвета Кренкель не выдержал, сдернул наушники:

— Вот сволочи, а? Ничего, мы им сейчас покажем!

И принялся будить, расталкивать нас:

— Вставайте, хлопцы, разматывайте провод: надо удлинить антенну, тогда посмотрим, кто кого!

Ох, как не хотелось вылезать из согревшегося за ночь спального мешка опять на мороз... И вдруг из соседней, из кочегарской палатки на весь лагерь грянула многоголосая песня:

Нас утро встречает прохладой,  
Нас солнцем встречает заря,  
Челюскинцы, что ж вы не рады  
Веселому пенью утра!

— Ишь, черти, дают! — расхохотался Володя Задоров. — Нашли «прохладу», ничего не скажешь!

Спальные мешки — в сторону, малицы — тоже, и, ныряя под нижний обрез палатки, мы выкатились наружу. А из кочегарского «кубрика» уже разносился второй куплет всеми любимой, но переделанной на новый, на теперешний наш лад песни:

Ведь мы не моржи, не тюлени,  
Кого ни возьми — молодец!  
А значит, без жалоб и лени  
Построим на льдине дворец!

Ребята уже бежали к нам и из кочегарской и из других палаток.

Работа закипела: всем не терпелось узнать, что слышно с Большой земли. За полчаса антенна была удлинена почти в два раза. Из нашей палатки высунулась круглая, сияющая физиономия Симы Иванова:

— Хлопцы, ура! Людочка нас слышит!

Людочка — значит Уэллен, где работает единственная в здешних местах радистка, комсомолка Людмила Шрадер. Никто из нас, конечно, никогда не видел ее, но со слов Кренкеля в девушку были влюблены все и ласково называли Людочкой: именно через нее в течение всей зимовки проходила радиосвязь «Челюскина» с Москвой, с нашими родными и близкими. А теперь Людочка самая первая услышала и наш голос с дрейфующей льдины.

Подошел Шмидт — взволнованный, бледный, с темными тенями под запавшими за ночь глазами.

— Связь с Уэлленом?

— Есть, — не отрываясь от ключа передатчика, радостно кивнул Кренкель.

— Передайте. — Отто Юльевич протянул ему покрытый ровными карандашными строчками лист бумаги.

И в разом наступившей, как бы сгустившейся тишине из лагеря на дрейфующей льдине, с тех пор вошедшего в историю под именем «Ледового лагеря Шмидта», в эфир помчалась самая первая наша радиограмма:

«14 февраля в 4 часа 24 минуты московского. Аварийная. Правительственная.

Москва, Совнарком — Куйбышеву.

**13 февраля в 13 часов 30 минут «Челюскин» затонул, раздавленный сжатием льдов...»**

— Готово, — радист снял наушники и повернулся к начальнику экспедиции, — в Уэллене текст принят без пропусков и искажений. Напрасно старались господа фокстротчики в Номе. — Он усмехнулся. — Следующий сеанс связи состоится в установленное время.

— Хорошо. — Шмидт кивнул. — Устраивайтесь, отдыхайте...

Кренкель любил шутить, подначивать и никогда не терялся в выгодных ему обстоятельствах. Так случилось и в этот раз.

Мы решили обогреться и начали один за другим заползать в свою палатку. Продолжая копаться в своей рации, Кренкель бросал в нашу сторону сердитые, недружелюбные взгляды. Мы не понимали, что случилось. Когда в палатке набилось людей полным-полно, он строго нахмурил брови:

— Вам, граждане, что здесь, собственно, нужно?

— Как что? — опешил Ваня Нестеров. — Палатка-то...

— Правильно, — перебил его «бог эфира», — палатка-то эта наша, радистов. Не палатка, а радиостанция. Слыхали, что Отто Юльевич сказал? «Устраивайтесь, отдыхайте...» Нам приказано отдыхать, мне и Симе Иванову, ясно? Вы же продрыхли всю ночь, как боровы, и теперь катитесь работать. Вопросы есть?

— Слушай, надо же совесть иметь, — попытался было урезонить «захватчика» Миша Филиппов, но Кренкель и его

не стал слушать, назидательно поднял палец: — Ты что, первый день на льдине?

— Пе-первый, — запинулся от неожиданности механик. — А что?

— А то, что на льдине, как и на корабле, посторонним лицам находиться в пунктах радиосвязи категорически воспрещается, понятно? Так-то вот, робинзоны.

И широким жестом, уже не сдерживая смеха, новоиспеченный хозяин нашей палатки указал на выход:

— Не надорветесь, постройте себе еще одну.

Что оставалось делать? Для облегчения души выругали хитрого обманщика, да и пошли: не выставишь же радиостанцию на мороз, когда вот-вот Людочка опять может вызвать лагерь. Впрочем, мы и не думали обижаться на Эрнеста за ловкий ход: десятерым молодым парням и быстрее и легче разбить палатку, чем двум радистам. И скоро рядом с «реквизированным» вырос еще один, теперь уже окончательно наш, брезентовый домик.

Начали обживать льдину и другие: для тепла и защиты от ветра присыпали палатки нетолстым слоем рыхлого снега; налаживали отопление, тащили каменный уголь к небольшим чугунным печуркам-камелькам; собирали разбросанные по всему лагерю и сносили в одно место ящики с продуктами, тюки с запасной теплой одеждой. Вскоре в центре лагеря запылал жаркий костер: верные своему профессиональному долгу, повара и корабельный кок принялись готовить первый утренний завтрак.

Но еще до завтрака Отто Юльевич счел нужным провести митинг. Подождя, пока все соберутся, он заговорил о том, что глубоко волновало нас всех.

— ...Нет, мы не жалкая кучка людей, обреченных на гибель. Мы — коллектив, за которым следит вся Советская страна. В Уэллене уже организована спасательная группа Хворостанского, они готовятся выйти к нам на помощь на собачьих упряжках. В Москве создана Правительственная комиссия по спасению челюскинцев под председательством Валериана Владимировича Куйбышева, обремененная чрезвычайными полномочиями для проведения спасательных операций. Самолеты в Уэллене ждут летной погоды. И, судя по полученному из Москвы сообщению, это еще далеко не все.

Что же требуется от нас с вами? — продолжал



Шмидт. — Только одно: дисциплина, организованность и терпение. Жизнь на льдине зависит от нас с вами, товарищи. И жить мы будем так, как всегда и везде живут советские люди.

Странно все-таки устроен человеческий характер! Неделю назад возможная гибель корабля казалась мне чудовищной, непоправимой катастрофой. А сейчас и суток еще не прошло с той минуты, как мачты «Челюскина» ушли под лед — и ничего, работаем! Посмотрели бы на нас люди со стороны, ни за что не поверили бы, что веселые, неунывающие эти хлопцы всего лишь вчера чуть было не отправились вместе со своим пароходом на дно Чукотского моря...

Только есть очень хочется, животы подвело. Почему так долго копаются Юрка Морозов и дядя Саша Зверев?

Повар дядя Саша решительно взял бразды правления лагерным «общепитом» в свои руки.

Укутанный в длиннополую малицу с меховым капюшоном, он, как заправский шаман, «ворожил» возле большого котла, подвешенного над пылающим костром на треноге из шлюпочных весел. Юра деятельно помогал ему, и от котла по всему лагерю шел щекочущий запах разогретых мясных консервов. Выслушивая похвалы голодных ребят, довольный «шеф» не без иронии отшучивался:

— Вишь ты, какими ласковыми да уважительными все стали, не узнать... На судне небось носы воротили: это надо-

ело, того не хочу. А теперь так и палкой от котла не прогнать.

И, посмеиваясь, опять принимался мешать ароматное варево в котле:

— Потерпите, чуток, сейчас накормлю. А постройте камбуз, буду готовить не хуже, чем в ресторане.

— Будет камбуз!

И построили. Кухню построили с печью из железной бочки. Бревенчатый барак на пятьдесят человек с двумя самодельными печами. Высоченную сигнально-наблюдательную вышку на гребне раздавленного корабль ледяного вала. И еще одну, чуть в стороне, с подвешенной на ней железной бочкой из-под бензина, в которой позднее, во время приближения самолетов, жгли войлок, политый для большего дыма смазочным маслом. Все построили! Благо строительных материалов — всплывших с «Челюскина» бревен и досок — в полынье оказалось с избытком, а вырубить и вытащить их на лед большого труда не составляло.

Полынья еще долго оставалась для нас источником многочисленных ценных находок. Вперемежку с лесом то бочку с керосином или нефтью обнаруживали в ней, то бухту пенькового троса, то большой фанерный ящик с не успевшими сильно промокнуть папиросами. А иной раз и бочонок со сливочным маслом вырубали из льда, и мешок пшеничной муки-крупчатки, и галеты, добротнo упакованные в пачки по тысяче штук. Всю добычу доставляли на продуктовый склад, с легкой руки Феди Решетникова прозванный кооперативом «Красный ропак».

Кухня-камбуз и особенно жилой барак получились, по общему мнению, «форменным чудом строительно-дрейфовальной техники». В просторном бараке, где разместились женщины с детьми и самые пожилые из нас, на дощатом полу, застланном слоем войлока, лежали мягкие постели из малиц и спальных мешков. Посередине стоял длинный стол, сколоченный из неоструганных досок, но зато с настилом из фанеры. В обоих концах барака круглые сунки топились самодельные железные печи. С потолка на проволоке свешивались фонари «летучая мышь», а днем достаточно света давали окна с вставленными в них вместо стекол большими бутылками.

Барак был не только жильем для пятидесяти наших това-

рищей, здесь проводились все общелагерные собрания, беседы, концерты художественной самодеятельности. Днем, когда мужская часть «барачников» отправлялась на работы, оставшиеся дома женщины штопали белье и верхнюю одежду, шили меховые и брезентовые рукавицы, кроили из шерстяных одеял портянки. По вечерам в гости к «барачникам» собиралось чуть ли не все население «палаточного городка». И тогда до глубокой ночи далеко вокруг разносились то веселые хоровые песни, то дружные взрывы хохота неунывающих полярных робинзонов.

В стороне от барака, тоже на крепкой льдине, ровными рядами выстроился брезентовый палаточный городок. В нем похуже было, потеснее и похолоднее: восемь-десять человек в каждой палатке. Но ребята не жаловались, не брюзжали, не завидовали «барачникам»: в большинстве своем молодые, палаточники умели терпеть и, как мы говорили, «если даже прижмет, не пищать!»

Капитан Воронин с тремя своими помощниками-штурманами тоже поселился в палатке. Оборудовали они ее под корабельную каюту: на стенах, на полках разместили навигационные инструменты, на специальном маленьком столике лежал спасенный с «Челюскина» вахтенный журнал. И в журнале этом в течение двух месяцев жизни на льдине со скрупулезной морской точностью штурманы отмечали все события, происходившие в ледовом лагере Шмидта.

А профессор Шмидт отказался не только от барака, но даже и от обычной палатки. Он разбил в палаточном городке свою неразлучную спутницу в прежних путешествиях к горным вершинам Памира и шутил, что чувствует себя в ней не хуже, чем в благоустроенной московской квартире. Но какая уж там квартира, да еще и благоустроенная, если в эту палатку Отто Юльевичу приходилось вползать чуть ли не на животе, а спать в ней, с головой закутавшись в меховой спальный мешок! Непонятная, не сразу объяснимая причуда? Нет: если так мог жить и жил больной туберкулезом легких ледовый комиссар — значит нам, молодым и здоровым, сама совесть повелевала жить и терпеть до конца, что бы с лагерьм ни случилось!

В нашей крайней в среднем ряду палатке (в прежней, «захваченной» Кренкем, разместился челюскинский штаб) жили восемь человек: механики Колесниченко и Филиппов,



машинисты Задоров, Нестеров, Петров, кочегар Румянцев, дневальный Лепихин и я. Жили дружной семьей, сложившейся в первую же ночь на льдине, продрожав которую в сырых спальных мешках, под замороженным брезентом, мы решили наутро не расставаться до окончания ледовой робинзоны. Много трудных дней и ночей выпадало на нашу долю, но случались и веселые, и просто забавные происшествия. И от них наша семья становилась еще дружнее.

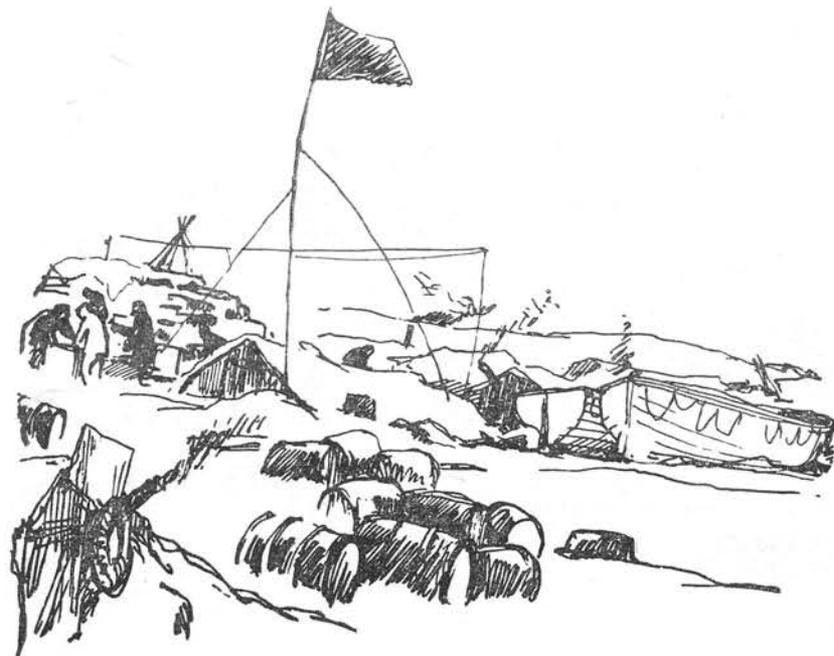
Как-то вскоре после гибели корабля, опять проворочавшись с боку на бок всю ночь, мы услышали перед рассветом решительный голос Пети Петрова:

— Хватит «дрыжики» продавать! Баста! Иду на прогулку!

— Ку-да! — удивленно протянул Колесниченко. — На прогулку?

— Представь себе, да! — Петров выбрался из мешка. — Можете дрыхнуть дальше!

Петр Иванович Петров — так звали нашего маленького



машиниста. Однако по стародавней морской традиции мы еще на судне отбросили все лишнее, оставив только начальные буквы его имени, отчества и фамилии. И получилось красиво и звучно: Пип!

Ушел в ту ночь Пип на прогулку и... пропал. Лишь когда начало светать, он ворвался назад в палатку и прыжком нырнул в самую гущу наконец-то уснувших ребят:

— Дайте, черти, погреться, зуб на зуб не попадает!

— Тише ты, кости поломаешь! — заворчал спросонок Миша Филиппов. — Где тебя леший носил?

— Думаешь, я знаю? Заблудился! Приткнулся бочком в какой-то палатке и продрожал, как цуцик, до рассвета. Бр-р-р! Еле нашел нашу халупу...

— Ну и Пип, ну и неприспособленный! — зевнул Ваня Нестеров. — Беги-ка лучше на камбуз, раздобудь горячего чаю. Без него не отогрешься.

— Чаю? — Пип задумался, подкручивая несуществую-

щие усы, — была у него такая привычка. — Мысль, пожалуй, в основе своей здоровая. Бегу!

Он незаметно «одолжил» до утра у соседней чайник. И даже кипяток раздобыл. Но уж если не повезет человеку, так до конца: возвращаясь назад, Пип зацепился за оттяжку антенны и вместе с кипятком ввалился к хозяевам чайника в палатку. Домой он вернулся мокрый, без чайника, вспаренный, как из бани, — видно, соседи постарались — и на нас же сорвал свою злость:

— Я, стало быть, неприспособленный? Отлично! А вы, милорды, ленивые бегемоты и лежебоки, вот кто! Не могли окружить вниманием и заботой единственного неприспособленного во всей Арктике, а? Форменное свинство!

Так и остался с тех пор машинист Пипом Неприспособленным, никогда, впрочем, не обижавшимся на эту шутовскую кличку. Наоборот, еще сумел извлечь из нее кое-какие существенные выгоды для себя. Назначим, например, его дневальным по палатке и вечером после работы почти наверняка обнаружим в пшенной каше или пустой спичечный коробок, или самодельную шахматную фигурку. Разогреет на ужин суп, и от супа обязательно будет попахивать керосином. Останется ночным дежурным, и среди ночи мы непременно проснемся от дикой стужи: оказывается, Пип забыл, что всю ночь нужно поддерживать в чугуновой печурке огонь...

Сгоряча начнем его ругать — молчит и слушает, с самым невинным видом подкручивая «усы». А потом недоуменно пожмет плечами и спокойнейшим голосом ответит что-нибудь вроде:

— Не пойму, милорды, к чему весь этот шум? От заблудившегося в каше шахматного коня извержение Этны не произойдет. Поэтому будем считать, что положение наше в данный момент более-менее относительно не плохое. Вы согласны?

Нет, сердиться на Пипа Неприспособленного не было никакой возможности. Добродушный и покладистый, он умел благодушием своим обезоружить самых вспыльчивых из нас. И когда, наконец, терпеть его «неприспособленность» дальше стало невмоготу, мы к немалому удовольствию машиниста порешили раз и навсегда: ни дневальным в палатке, ни ночным дежурным Пипа отныне не назначать!

— Мудро, — выслушав это единодушное решение, с передаваемой важностью согласился виновник всех наших палаточных происшествий. — Наконец-то я убедился, милорды, что ледовый дрейф оказывает благотворное влияние на ваши отнюдь не выдающиеся умственные способности. Давно пора было поумнеть!

Иного склада человеком был старший кочегар, председатель судового комитета Иван Румянцев. Уже в годах, в прошлом матрос царского флота, потом участник Великого Октября, он очень любил подробно и обстоятельно рассказывать о том, что пережил и повидал на своем веку. В походе на корабле и во время зимовки «Челюскина» это удавалось не часто: ребятам всегда в море недосуг. Зато в палатке оказалось раздолье, особенно когда снаружи бесновалась пурга: хочешь не хочешь, слушай одно и то же. И Румянцев рассказывал, почему-то чаще всего об Алжире, где в кои-то дореволюционные веки он пережил множество развеселых матросских приключений, закончившихся... арестом и длительной отсидкой в алжирской тюрьме.

— Как? В тюрьме? — услышав это неожиданное признание, радостно подскочил Ваня Нестеров. — Ребята, ура: отныне с нами живет не Иван Румянцев, а самый настоящий Алжирский Узник!

Меткое прозвище — Динамо — досталось и четвертому механику Толе Колесниченко за его блестящую лысину, похожую на отполированный до зеркального блеска медный кожух корабельной динамо-машины. Неумолимый любитель самодельных прогнозов погоды Миша Филиппов стал именоваться Метеорологическим Пекарем. Широкоскулый и узкоглазый дневальный Володя Лепихин превратился в Черемиса. Грузный, малоподвижный, не скорый на подъем машинист Ваня Нестеров как-то в разговоре сам себя окрестил Нерпчочкой. Очень кстати подошло прозвище Академик к секретарю партийной ячейки машинисту Володе Задорову. А мне за высокий рост и худобу досталась кличка Длинный Джек.

Случайно получилось так, что все мы, кроме Володи Лепихина, коммунисты и комсомольцы, носили на льдине не ватники и меховые малицы, как большинство челюскинцев, а черные кожаные куртки. На это обратил внимание Отто Юльевич, и с легкой руки его наш брезентовый домик получил название палатки Кожаных комиссаров. Нашлись отли-

чительные названия и для других палаток: научные работники, журналисты, писатели и художник Решетников жили в палатке Третьего стола, капитан с помощниками — в Штурманской, а развеселые кочегары прикрепили над входом в свою палатку кусок фанеры с броской надписью черной краской «Бич-бар» и изображением белого медведя с кружкой пива в лапе.

Чья же палатка была лучшей? Лучших не было: весь наш коллектив жил по законам взаимопомощи, труда и дружбы. Начали строить барак и камбуз — и все, кто умел владеть топором, стали строителями. Трескалась льдина под продуктовым складом, и ребята без зова сбегались перетаскивать ящики и мешки с продуктами подальше от трещин. В мороз, в ветер вызывали добровольцев на очередную расчистку аэродрома, и тотчас в палатках, где жила молодежь, слышалась голоса выборных старшин:

— Одевайтесь, хлопцы. Пошли!

Не мудрено, что у «палаточников» не оставалось времени подумать, позаботиться о самих себе, получше утеплить и хотя бы относительно благоустроить свои брезентовые домики. К чему лишняя возня, если за день до того наматываешься, намерзнешься, что к вечеру лишь бы поскорее с головой закутаться в спальный мешок...

Ребята даже гордились, немножко бравировали своей выносливостью и закаленностью, подтрунивали над теми, кто старался превратить свои палатки в подобие нормального жилья:

— Мы не неженки, нам и так хорошо!

Но Отто Юльевич считал иначе. Он как-то зашел в нашу палатку, сел на единственный «стул» — фанерный ящик и, как это бывало еще на судне, начал рассказывать что-то интересное о прежних своих путешествиях. Будто не замечая, как изо рта вырываются клубы белого пара, профессор снял меховую шапку, начал не торопясь одну за другой расстегивать пуговицы нерпичьей куртки. Мы забеспокоились, заерзали, поглядывая друг на друга: дикий холод, а Шмидт раздевается. Простудится же! Ваня Румянцев не выдержал, попросил:

— Отто Юльевич, не надо. И шапку наденьте: мороз!

Профессор оборвал рассказ на самом интересном месте, улыбнулся:

— Разве? Пожалуй, вы правы. Ну что ж, пойду туда, где теплее. А к вам на днях наших дам приглашу: пускай полюбуются, в каких «спартанских» условиях предпочитают жить уважаемые товарищи Кожаные комиссары.

И ушел посмеиваясь. А мы приуныли: осрамлились, перед ледовым комиссаром, да еще как!

Наш старшина Толя Колесников решительно поднялся с места.

— Съели? Берите лопаты, лодыри. За работу!

Выбрав место с нетронутым снегом, мы выкопали в нем глубокий, до самого льда, котлован. На лед уложили пол из толстых досок, сверху расстелили слой войлока, а в довершение соорудили деревянный остов нового домика. С внутренней стороны обшили остов шерстяными одеялами, снаружи натянули палатку, а на нее еще и снегу навалили для тепла.

Жилье получилось на славу, но теперь и этого было мало. Справа от входа мы отгородили угол для чугунного камелька, через самодельную форсунку отапливавшегося керосином. Слева отвели место для обуви, чтобы не топтаться в ней по спальным мешкам. А в противоположную от входа стену, обшитую досками, вколотили восемь больших гвоздей для верхней одежды — по количеству жильцов. В заключение по обеим боковым стенам на уровне изголовья приколотили по длинной полке для всяческих личных мелочей, не умещавшихся в карманах.

Вот когда и у нас стало райски тепло и уютно! Не хуже, а, пожалуй, лучше, чем у других!

Растопили камелек, дождались, пока чугунные бока его налились малиновым жаром, и сами себе не поверили: ни ватники, ни свитеры больше не нужны. Сиди себе, наслаждайся в одних рубашках!

— Может, позовем? — блаженствуя, предложил Миша Филиппов.

— Кого?

— Отто Юльевича: пускай теперь посмотрит.

Ваня Нестеров иронически хмыкнул:

— Зови, зови... Только чем ты его угощать будешь?

— Как чем? — удивился Миша. — Крепким чаем со сгущенным молоком. Галетами с маслом. Чем не угощение?

Ваня не успел ответить, вмешался Пип. Задумчиво подкрутив «усы», он кашлянул и изрек:

— Разрешите узнать, милорд, на чем и в чем вы намерены устроить свой фешенебельный файф-о-клок? На всех гостей наших кружек не хватит. Можно, конечно, вместо посуды воспользоваться пустыми консервными банками. Но, пардон, куда прикажете ставить сей драгоценный хрусталь?

— Чудак, — рассмеялся Миша, — разве нельзя держать банки в руках? До сих пор...

— Айн момент! — решительно остановил его Пип. — До сих пор, насколько мне не изменяет память, мы вели древнепещерный образ жизни. Как поется в популярном произведении непревзойденного вокалиста Федора Решетникова: «Шерстью дышим, в шерсти спим, шерстью укрываемся, с шерстью кашу мы едим, не заболеваемся». Но отныне наша жизнь потечет на высшем уровне, не так ли?

— Завел, — вздохнул Ваня Румянцев, — теперь не остановишь. — Видно же, что придумал какую-то штуку. Не тяни резину, говори.

— О! — маленький машинист радостно всплеснул руками. — У Алжирского Узника явное просветление в мозгах! В таком случае беритесь за инструменты, милорды: будем сооружать стол.

— Вот-вот, — подхватил Володя Задоров, — поставим его в углу, где твое спальное место: тебе и спать под столом.

Но Пип не удостоил скептика даже насмешливым взглядом.

Все оказалось очень просто: сколотив ребро в ребро две широкие доски, мы подвесили их на веревках к стержневой балке каркаса, и стол получился — лучше не придумаешь! Надо обедать или гостей принимать — садись за него по-турецки на свернутые вместо стульев спальные мешки. Даже в шахматы играть можно. А отпала надобность или пора спать ложиться — минутное дело подтянуть стол к потолку и закрепить, чтобы не мешал... Не мудрено, что благодаря этой идее Пип стал героем дня. И хотя личное участие его в сооружении стола ограничилось только «идейно-техническим» руководством, он тем не менее категорически потребовал за ужином двойную порцию сгущенного молока:

— Умелые руки, милорды, обязаны уважать и ценить ге-

ниальную голову. Таков закон диалектики, и против него не попрешь!

На следующий день после обычной работы на аэродроме мы принимали у себя гостей — Шмидта, Боброва и Копусова. Сидели не как раньше, не в малицах и ушанках, а за столом, в одних свитерах, кое-кто даже в тельняшках. Пили настоящий, крепко заваренный чай со сгущенным молоком и похожими на квадратики фанеры галетами. И для гостей Пип умудрился раздобыть у завхоза Канцына самые настоящие стаканы.

А потом слушали Отто Юльевича, сами рассказывали, поздно вспоминали Большую землю, родных... И чувствовали себя так, словно не сотни миль ледяного безлюдья расстилаются вокруг, не холодная океанская глубь под нами, а дорогая, любимая советская земля...

— Земля... — незадолго до ухода задумчиво, почти мечтательно произнес профессор. — Скоро мы все будем на родной земле... А там опять разойдемся по своим дорогам...

И вдруг предложил:

— Знаете что, друзья? Давайте дадим слово: где бы мы ни были, собираться всем вместе каждый год тринадцатого февраля, в день гибели нашего «Челюскина». Обязательно. Пока мы живы. Согласны?..

Ночь пришла синяя, звездная, удивительно спокойная, когда мы проводили гостей. Ребята начали укладываться, а я, забросив за плечи винтовку, отправился на двухчасовую наружную вахту. Лагерь уже погрузился в сонную тишину, и только я один бродил и бродил от палаточного городка к барaku, потом к продуктовому складу и назад, к палаткам. Без вахтенного ночью нельзя: могут пожаловать незваные «хозяева» — медведи; может и трещина неожиданно и беззвучно разорвать льдину, погубить склад, разрушить барак, поглотить палатку вместе со спящими людьми. Всякое может случиться: Арктика. Но думалось не об этом. Думалось о хорошем: о том, что предложил Шмидт и с чем мы с радостью согласились все. И словно прислушиваясь к этим хорошим думам, к думам о нашей дружбе, в вытканном мерцающими огоньками небе торжественно сияла зеленая чукотская луна.

Хруст снега неподалеку заставил насторожиться. Я обернулся. Ко мне медленно приближался капитан Воронин.

— Все тихо? — негромко спросил он.

— Тихо, Владимир Иванович. Не спится?

— Да как сказать... — капитан помолчал. — Ледокол бы сюда. Покрепче да по сильнее «Красина» разиков в десять: я бы тогда иначе с этими льдами поразговаривал... Ладно! Будут у нас такие ледоколы! Будут! Как ни бесится Арктика, все равно мы над ней верх возьмем!

Он ушел в ночь — большой, могучий, не знающий покоя. Ушел додумывать свою нелегкую думу, донашивать свою главную мечту. Нельзя без мечты жить. Даже здесь, на льдине, нельзя не думать о самом для тебя главном. А главное для нас — то, во имя чего совершал свой поход «Челюскин», чему посвящена вся ледовая челюскинская одиссея:

— Верх будет, обязательно будет наш!

## Наперекор всему

Сжатие, погубившее «Челюскина», не миновало и аэродромы, расчищенные в зимние дни, предшествовавшие катастрофе. На самом большом из них, в четырех километрах от теперешнего лагеря, широкая трещина отсекала целый угол. Два остальных исторосило так, что от них следа не осталось. А между тем спасение могло прийти к нам только с воздуха: где же мы примем самолеты, когда они прилетят?

— Надо готовить новые, — высказал общую мысль Михаил Сергеевич Бабушкин, — и опять не один аэродром, а несколько. Чтобы посадочная площадка всегда была наготове.

Летчику не возражал никто, но... где гарантия, что с огромным трудом расчищенная площадка к следующему утру не превратится в очередное нагромождение вздыбленных сжатием ропаков и торосов? Ведь поблизости от лагеря нет ни одной подходящей льдины. Придется искать их в пяти-шести километрах. Подготовим, уйдем в лагерь, а прилетит Ляпидевский, и садиться некуда...

Выход предложил Сандро Погосов:

— Нам не посадочные площадки нужны, а настоящий аэродром. С постоянными дежурными, с наземным обслужи-

ванием. Чтобы и принимать и отправлять машины, как на Большой земле.

— Верно, — согласился Бабушкин, — но мы не можем дробить свои силы, не можем выделить отдельную бригаду или хотя бы группу аэродромного обслуживания. В нее пришлось бы отобрать самых сильных, а что будет с теми, кто останется в лагере, если начнется такое же, как тринадцатого февраля?

Погосов загорячился:

— Разве я говорю о бригаде, о группе? Трех человек вполне достаточно для того, чтобы наш аэродром всегда был в постоянной готовности!

— Как так? — опешил летчик.

— А так!

И Сандро начал развивать свою мысль.

Расчищать посадочные площадки должны все, кто способен к тяжелому физическому труду. Для этого действительно придется разбиться на две бригады, чтобы люди могли работать не более трех часов за смену, поочередно. А жить на расчищенном аэродроме вполне могут всего лишь три человека. Для этого нам понадобится одна палатка и максимум недельный запас консервов. Достаточно установить сигнальную, хотя бы флагами, связь с лагерем, чтобы можно было в любую минуту сообщить, в каком состоянии посадочная площадка, готова или нет принимать машины. Случись беда, и помощь из лагеря тоже можно вызвать заранее условленным флажным сигналом.

— Беда... — задумчиво повторил летчик. — Беда не исключается: разорвет ледяное поле, утащит аэродром дрейфом неведомо куда, и никаким самолетам ни его, ни унесенную вместе с ним тройку вовек не найти...

— Без риска не обойтись, — быстро вставил Погосов. — Разве не может так же разорвать и разнести лагерь?

— Может. — Бабушкин начинал сдаваться. — И кто же, по-твоему, на аэродроме должен жить?

— Я! — выпрямился Сандро.

— И я! — подхватил Витя Гуревич.

— А мне с ними сам бог велит, — подытожил Жора Валавин. — Без бортмеханика какой же аэродром!

Воронин это предложение одобрил:

— Придумали правильно. Посему и быть.

Шмидт тоже согласился, хотя и не без колебаний:

— Вы предложили, товарищ Погосов, — вам на аэродроме и начальником быть. В случае малейшей опасности немедленно бросайте все и возвращайтесь в лагерь.

В тот же день, погрузив на самодельные сани брезентовую палатку, чугунный камелек, топливо и недельный запас продуктов, мы вместе с «аэродромщиками», как сразу прозвали в лагере троих ребят, отправились за четыре километра на уцелевшую после сжатия посадочную площадку. Палатку разбили у края ее, вместо пола настелили слой войлока потолще, поверх брезента подсыпали снегу, чтобы не очень продувало ветром. А Погосов еще и вывеску приспособил к ней — кусок фанеры с надписью черными буквами: «Аэропорт — 173° западной долготы и 68° северной широты».

— Жить можно, — с удовлетворением осмотрев свое «хозяйство», заявил он. — Можно будет даже гостей с Большой земли принимать.

И жили без малого два месяца. И гостей принимали, летчиков, когда те начали один за другим прилетать в лагерь; и даже однажды Сандро Погосов застрелил неподалеку от «Аэропорта» медведицу — единственный, кому так крупно повезло за все наше двухмесячное пребывание на льдине...

...А мы, не откладывая, принялись разыскивать и рассчитывать новые посадочные площадки.

Нужно это было потому, что непрекращающийся дрейф и очередное сжатие могли свести на нет всю нашу подготовку к приемке воздушных кораблей. Стоило измениться направлению ветра, как тут же начиналось торошение, а это значит — поминай как звали наш ледовый «Аэропорт»! Чтобы этого не случилось, мы и искали новые пригодные льдины. Расчистку их приходилось всякий раз начинать заново. А всего за два месяца жизни в лагере Шмидта мы подготовили тринадцать посадочных площадок. Всегда, в любую минуту минимум две из них были готовы принять воздушные корабли.

Жаль только, что прилет машин зависел не от нас, даже не от экипажей, а исключительно от состояния погоды. Опытный, смелый полярный летчик Анатолий Ляпидевский снова и снова поднимался в воздух, пытаясь прорваться на север, но всякий раз вынужден был возвращаться в Уэллен, не обнаружив лагерь. Он совершил в общей сложности двадцать

восемь вылетов, но все еще был так же далеко от него, как в первый день нашей жизни на льду...

Список очередности вывозки людей, составленный еще на «Челюскине», на льдине почти не подвергся изменениям. Первыми в нем значились дети и женщины, за ними — наиболее физически слабые и пожилые, а дальше все остальные, в зависимости от их надобности в лагере. Завершали список фамилии Шмидта, Воронина, Кренкеля и начальника аэродромной службы Саши Погосова.

— Мы улетим с последним самолетом, — твердо заявил начальник экспедиции. И тут же предупредил: — Прошу хорошенько запомнить, товарищи, что в список могут быть внесены изменения. В первую очередь — вернее, вне очереди — будем удалять из лагеря тех, кто допустит малейшее нарушение дисциплины, невыдержанность, трусость. Предупреждаю об этом заранее, дабы всем было ясно: нарушителей дисциплины, советской этики и морали мы будем изгонять с презрением и позором. И исключения из этого правила не сделаем ни для кого!

Мы знали: ледовый комиссар на ветер слов не бросает. И не его ли заслуга, не общая ли заслуга всего нашего коллектива, что эвакуационный список за все два месяца жизни на льду не был нарушен ни единого раза!

Тем временем третья декада февраля началась, а самолетов все еще не было. Ничего не поделаешь, на то и Арктика... Прилетят... А когда прилетят? И каждое утро после горячего завтрака дежурная смена «аэродромного обслуживания» отправлялась на расчистку очередной посадочной площадки.

Так было и в тот злополучный февральский день, когда внезапная трещина во льду едва не поглотила наш продуктовый склад.

Утром, когда уходили на расчистку, вокруг все было тихо и спокойно. А возвращались после работы домой — и чем ближе к лагерю, тем больше трещин встречали по пути. Некоторые приходилось огибать стороной; перепрыгивать там, где трещины были поуже, и на руках перетаскивать сани с пешнями и лопатами. Состояние льдов не могло не вызвать тревоги: цел ли лагерь? Справятся ли с неожиданной бедой два десятка человек, на день оставшихся там дежурить?

Издали лагерь казался спокойным, и все же мы припу-

стились бегом не по накатанной дороге, а напрямик, по снегу, чтобы сократить расстояние. А когда, наконец, разглядели широкую, дымящуюся на морозе трещину, наискосок пересекшую всю территорию поселка, — помчались изо всех сил: беда! Трещина подбирается прямо под склад продуктов!

Счастье, что догадались устроить под складом прочный настил из длинных бревен. Опоздай мы хотя бы на полчаса, и все запасы экспедиции поглотило бы море. В этот раз обошлось: продукты успели перетащить на новое место, успели даже и большинство бревен откатить в сторону. А чтобы впредь такое не повторилось, разделили продукты на несколько равных частей и разместили их подальше одна от другой: если что-нибудь и погибнет, остальное успеем спасти.

Словно в вознаграждение за пережитую тревогу, из Москвы, от руководителей партии и правительства, пришла радиограмма:

«Шлем героям-челюскинцам горячий большевистский привет. С восхищением следим за вашей героической борьбой и принимаем все меры к оказанию помощи. Уверены в благополучном исходе вашей славной экспедиции и в том, что в историю борьбы за Арктику вы впишете новые славные страницы».

Мы как бы заново, со стороны взглянули на самих себя: герои-челюскинцы... Значит, за нашей жизнью на льду народ следит, как за героической борьбой? Чем же должны и чем сможем мы отблагодарить партию и народ за их заботу, за ласку, за помощь, без которых нам, быть может, не вынести, не выдержать, не выстоять до конца?!

В тот день в Москву, в Кремль, умчалась наша ответная радиограмма. Мы поклялись родному народу, что до конца выполним свой долг. Но теперь даже этой клятвы нам было мало. Хотелось сейчас же, сию минуту совершить что-то особенное, небывалое, такое, на чем мы еще раз смогли бы проверить и свои силы, и сплоченность, и готовность выстоять, выдержать. Лучше других эти чувства, обуревавшие всех, выразил Владимир Иванович Воронин. Он подошел к Шмидту, широко жестом указал на полузасыпанную снегом амфибию-«шаврушку» и громко, чтобы слышали все, спросил:

— Отто Юльевич, а не перетащить ли нам ее на аэродром? Чтобы глаза зря не мозолила: вдруг да взлетит?

Еще вчера такое предложение показалось бы по меньшей



мере неосуществимым: одно дело — на руках вынести амфибию с палубы гибнущего «Челюскина», и совершенно другое — тащить ее на себе целых четыре километра по невообразимому хаосу ропаков и торосов.

Но, видно, и ледовому комиссару передалось наше состояние. И, оглядев нас прищуренными в улыбке глазами, только спросил:

— Сумеем?

— Должны!

— Ну что ж, я голосую «за»...

Среди ропаков прорубили дорогу до аэродрома, выровняли ее, потом и за самолет взялись. День выдался ясный, солнечный, почти без ветра — первый по-настоящему предвесенний день. Правда, мороз стоял крепкий, почти под сорок, но, когда впряглись в веревочные лямки, когда стронули с места и поволокли сколоченные из бревен тяжелые сани с закрепленной на них «стрекозой», стало жарко.

Шмидт и Воронин работали вместе со всеми. И ни тот ни другой не согласился до самого аэродрома сбросить с плеч бурлацкую лямку.

Два с половиной часа продолжался этот четырехкилометровый путь. И, наконец, «шаврушка», как живая, раскинула зеленые крылья рядом с палаткой Погосова.

Бабушкин обещает в ближайшие дни поднять амфибию в воздух.

Но самое главное: скоро, вот-вот прилетит Ляпидевский!..

Он ни на день не прекращал попытки пробиться к лагерю. Людочка Шрадер сообщала Кренкелю о каждом шаге летчиков, и мы, сотней с лишним километров отрезанные от побережья Чукотки, благодаря этим сообщениям знали все, что происходило в Уэллене.

Утром, чуть свет, в нашу и другие палатки просовывалась курносая физиономия радиста Сима Иванова:

— Которые лошади, приготовьтесь: заводят моторы.

«Лошади» — значит те, кому предстояло в этот день везти из лагеря на аэродром сани с пожитками улетающих женщин, нести на руках Аллочку и Каринку. «Лошади» начинали торопливо одеваться, наскоро завтракали: вот-вот позовут. И верно, минут через двадцать снаружи опять слышался обнадеживающий голос радиста:

— Завели! Летчики пошли на аэродром!

Тут уж приходилось шевелиться вовсю: только выкурить папиросу — и в путь. Но спустя полчаса тот же Сима совсем не весело сообщал:

— Лежите, черти, наращивайте жирок: опять забарахлил левый мотор. Сегодня не прилетят...

Правда, гораздо чаще злосчастный левый мотор вел себя прилично, и на сигнальной вышке взвивались два флага:

— Самолет в воздухе!

Мигом летели на сани узлы и чемоданы, «лошади» подхватывали лямки и — бегом к аэродрому. Женщины, путаясь в длиннополых малицах, едва поспевали за ними. Петя Буйко и Вася Васильев тоже спешили с дочурками на руках. А по пути нет-нет все оглядывались на вышку: не спушены ли флаги, в воздухе ли самолет?

Саша Погосов встречал распарившийся кортеж, чуть не приплясывая от радости: в небе ни облачка, машина скоро будет! Но проходил и час и другой... На ветру и морозе даже сквозь малицы пробирало до костей... Падало настроение, сами собой угасали шутки... И в довершение на сигнальной вышке оставался только один флаг:

— Самолета не будет...

Злые, намерзшиеся, голодные, теперь уже медленно воз-

вращались домой. А в лагере вместо сочувствия — веселый хохот, «подначки» ребят:

— О, сколько лет, сколько зим! Ну как дела на берегу? Понравилось? Рассказывайте скорей!

Что пользы сердиться или обижаться! Завтра все повторится в такой же последовательности, с тою лишь разницей, что этих весельчаков будут «подначивать» и «поздравлять» сегодняшние «лошади».

Мы не ворчали на летчиков, наоборот, всею душой сочувствовали им. Сколько труда и сил приходится тратить маленькой группе Ляпидевского на борьбу с непокорной полярной стихией, в каких неимоверно трудных, почти нечеловеческих условиях приходится ей работать! А иногда и тревога сжимала наши сердца: на сигнальной мачте весь день развевались два флага — «самолет в воздухе», — а самолета не было ни у нас, ни в Уэллене...

Где он? Что с ним? Хорошо, если всего лишь вынужденная посадка на берегу: чукчи обшарят берег на собачьих упряжках и найдут. А если во льдах, в открытом море? Ведь на самолете даже радиостанции нет!

Вздых облегчения вырывался у всех, когда Сима Иванов в сгущающихся вечерних сумерках принимался бегать от палатки к палатке, радостно оповещая:

— Все в порядке, ребята! Летали больше семи часов, но лагерь не нашли и недавно вернулись в Уэллен. При посадке немного повредили шасси.

— А сами?!

— Живы! Обещают за ночь исправить поломку и завтра опять полетят. В общем спите, моржи, у них все нормально!

Нормально... Мы любили это всеобъемлющее слово, и все, от Шмидта до печника Николаева, охотно пользовались им. Как жизнь в лагере? Нормально! Самочувствие, настроение, здоровье? Хоть и щеки обморожены, и руки едва сгибаются после дневной работы на аэродроме, и ноги гудят от усталости — все нормально, братва! Снова сжатие изломало, переторосило аэродром? Что ж, нормально, сделаем новый!

Мы укладываемся спать. В палатке тепло, в лагере спокойно. Завтра летчики опять будут искать лагерь. Завтра — значит после долгой ночи, которую они проведут на ветру и морозе, ремонтируя поврежденное шасси.

Так какие же они, эти люди? Неужели этот поражающий даже нас героизм для них тоже только «нормально»?!

Я ворочаюсь с боку на бок, не могу уснуть. И я знаю, что такие же мысли не дают уснуть ребятам. Наконец наплывает, туманит сознание дремота, и сквозь нее я слышу полувздых-полушепот Володи Задорова:

— Эх, скорей бы они прилетели!

И они прилетели!

5 марта, еще до рассвета, наш Пекарь-Метеоролог Миша Филиппов по обыкновению самым первым выбрался из палатки, но против обыкновения почти тотчас вернулся назад:

— Бр-р! Мороз под сорок, ветер до пяти баллов. Самолета не будет, можем весь день загорать.

Мы не слишком доверяли его «прогнозам», но за стенами палатки ветер завывал с такой голосистой силой, что и впрямь подумалось: «Куда уж летать в такую непогодь...»

Каково же было удивление, когда дверь палатки вдруг распахнулась и вместе с клубами морозного пара ввалился с головы до ног залепленный снегом Сима Иванов.

— Дрыхнете, лошади? Ваша очередь, поднимайтесь: нарты и отлетающие давно готовы, самолет полчаса как в воздухе... Марш на аэродром!

Ну уж если Сима взбесился, значит успевай поворачиваться. И через десять минут мы поспешно впряглись в груженные сани.

Мороз цепко схватил за горло, впился в щеки и нос. Единственное спасение — побыстрее, поэнергичнее двигаться, и мы бегом поволокли сани к аэродрому. Следом длинной цепочкой растянулись женщины, в который уже раз «покидающие» льдину. Замыкали шествие Буйко и Васильев со своими укутанными потеплее девочками на недавно сделанных для них санках.

По утопанной дороге двигались быстро, легко, и километр за километром пройденный путь оставался позади. Но в конце четвертого километра, в какой-нибудь сотне метров от посадочной площадки, на краю которой уже была видна палатка и стоящие возле нее ребята аэродромной бригады, дорога неожиданно оборвалась широкой, уходящей в обе стороны, дымящейся полыньей. Точно какой-то гигант умыш-



ленно рассек льдину, чтобы отрезать нас от аэродрома! А за спиной у нас, в лагере, к безоблачному небу уже тянулся столб черного дыма, оповещающий о том, что самолет совсем близко...

— Ищите, где поуже, — распорядился Воронин, — попытаемся переправиться.

Сбросив лямки, мы побежали в разные стороны вдоль кромки полыньи; но что пользы искать, если десятиметровой ширины полоса дымящейся воды и не думает становиться меньше. Бегом вернулись назад, схватили с саней железные ломы: не удастся ли отколоть кусок льдины побольше, чтобы на ней, как на плоту, переправиться на ту сторону? Но и от этой попытки пришлось отказаться: разве отколешь, когда лед под ногами не меньше двух метров толщиной!

— Ребята, — каким-то странным, чуть ли не детским голосом крикнул Миша Филиппов. — Ребята, слушайте... Никак, гудит?

Где кто стоял — так и замерли, напрягая слух. Некоторые даже шапки сдернули, чтобы наушники не мешали: неужели летит? И в наступившей тишине услышали далекий-далекий, едва различимый, но несомненный шум авиационных моторов. Нет, Миша не ошибся. Нам не почудилось! Шум нарастал, становился все громче, и вот уже в ясном небе появилась быстро растущая черная точка.

— Прямо на нас летит!

Мощно гудя моторами, самолет пошел на снижение, описал два круга над аэродромом и, взвихривая тучи снега, коснулся лыжами посадочной полосы. Сел!

Вот когда, наконец, ликующими «ура» прорвалась наша безмерная радость! Вон же он, совсем рядом, могучий воздушный красавец, четко вырисовывающийся на бело-голубом фоне оснеженных ропавков! Рядом? А может быть, дальше, чем был, когда находился в Уэллене?.. Видно, как черная змейка-трещинка ползет-торопится от нас к левому ближнему углу посадочной площадки... Добежит, скользнет поперек аэродрома, и придется вестнику Большой земли, спасаясь от нее, поскорее подняться в воздух... Неужели он прилетел напрасно?

— Разгружайте сани, — решил рискнуть Владимир Иванович — вдруг выйдет.

Мы привязали к саням конец длинной доски, которую всегда брали с собой на случай переправы через неширокие трещины, и зыбкое это сооружение столкнули на воду, так, чтобы нос саней уперся в противоположную кромку. Выдержит ли хрупкий мостик хотя бы самого легкого из нас?

— Кто? — негромко спросил капитан, и первым к нему шагнул подрывник Вася Гордеев.

— Не будем спорить, — улыбнулся он сведенными от мороза губами. — Я легче всех. Начнем?

Мы обвязали Васю веревкой, и он легко, как акробат-канатоходец, побежал по узенькой, зыбкой, прогибающейся доске. Шаг, еще шаг... Вот и сани... И вдруг, взмахнув руками, он с головой окунулся в ледяную воду.

Вытащив Гордеева за веревку на лед, мы набросили на него малицу, чьей-то второй укутали ноги. Что ж, ничего не получится с переправой? Так и улетит Ляпидевский без пассажиров? Ведь трещина уже почти добралась до аэродрома...



Может быть, и не переправились бы через полынью, если б издалека, с сигнальной вышки, штурман Марков не разглядел в бинокль случившееся и не организовал помощь. Собрав человек двадцать самых сильных из оставшихся в лагере, он отправил на выручку шлюпку-ледянку на специальных полозьях под днищем. Три с лишним километра по прямой по глубокому снегу ребята промчались минут за двадцать. И только передав шлюпку нам из рук в руки, обессиленные, повалились на лед.

Через четверть часа мы тесным кольцом окружили экипаж самолета.

Никогда не забыть эту самую первую встречу с нашими спасителями — с Ляпидевским и его товарищами, штурманом Петровым, вторым пилотом Конкиным, бортмехаником Руковским. Мы обнимали их, целовали, что-то кричали наперебой, а что — разбери!.. Саша Канцын бросился к медведopodobному в синем меховом комбинезоне летчику Конкину, сжал его в объятиях:

— Женя! Ты ли?

А тот так и ахнул:

— Саша? Не может быть!

И два участника гражданской войны, два однополчанина, не видевшиеся больше десяти лет, впервые с тех пор расцеловались на льдине в Чукотском море...

Шмидт переправился через полыню вторым рейсом шлюпки и подошел на несколько минут позднее. Он увел летчиков в аэродромную палатку, а мы, не мешкая, принялись разгружать кабину самолета: вытащили две олени туши, заряженные аккумуляторы для лагерной радиостанции и целый мешок с газетами и письмами от наших родных. Правда, почта была трехмесячной, даже четырехмесячной давности, но ведь мы больше полугода в глаза не видели ни одной газеты! Покончив с выгрузкой, так же быстро втащили в кабину наши уже разряженные аккумуляторы, ненужные на льду научные приборы, кое-какое спасенное с козабля штурманское и навигационное оборудование.

Подошел второй пилот Конкин.

— Прошу пассажиров занять места, — сказал он, — пора лететь.

Занять места... А как их занять, эти места, если до двери кабины со льда самый высокий из нас едва может дотянуться? Пришлось и пассажиров грузить в самолет: закутанных в необъятные малицы, беспомощных мы, словно кули с мукой, передавали их с рук на руки прямо к летчикам в кабину.

Вот и последние минуты перед взлетом. Занял места экипаж... Взвыли моторы. Взвихрились тучи колючего снега от винтов. И как бы сама собой грянула сложенная еще на судне прощальная песня полярных робинзонов:

Счастливым путем, до скорого свиданья,  
Счастливым путем, дружба!

Самолет прибавил газ. Громче взревели моторы, заглушая наши голоса. Быстрый разбег по ледяной дорожке — и машина в воздухе.

— Асса! — рванул с головы красноармейский шлем Сандро Погосов и пошел выделывать такую лезгинку, что и у нас заходили ноги: — Асса!!

В лагерь возвращались, как с самого светлого праздника: пели, кричали, смеялись, не обращая внимания ни на ветер, ни на мороз. Выругали на радостях, но уже без злобы, злополучную полыню, чуть было не сорвавшую отлет самых

первых, а переправившись через нее, впряглись кто в сани, кто в шлюпку-ледянку и, совсем не чувствуя тяжести, зашагали домой.

Кренкель увидел нас издали, подбежал к Шмидту, размахивая четвертушкой бумаги:

— Радио! Из Уэллена!

И Отто Юльевич, пождав, пока подойдут отставшие, громко и необыкновенно торжественно прочитал текст: «На Уэлленский аэродром прекрасно сел самолет АНТ-4 летчика Ляпидевского, доставивший десять женщин и двоих детей».

— С первой ласточкой, товарищи, — поздравил он нас. — С первой победой...

Как это здорово — победа! Но как не легко далась она летчикам: ведь Ляпидевский сумел пробиться к лагерю только на двадцать девятом вылете из Уэллена... Я шел с ребятами дальше и думал: на льдине мы живем без малого месяц. За это время построили девять аэродромов, а приняли только один самолет. Сколько придется еще расчищать посадочных площадок? И сколько дней ожидать следующий прилет машины? Правда, дни становятся длиннее, морозы слабее, ветры легче: и сюда, в Арктику, идет весна. Но с приходом ее начнется самое трудное: таяние снегов, частые торожения, появятся разводья... Успеет ли Ляпидевский вывезти до весны всех самых слабых и пожилых? Только бы успел, а мы, молодые, не пропадем. Мы и пешком, в случае чего, доберемся до берега!

Похоже, что Владимир Иванович подслушал эти мысли, а может быть, сам думал о том же. Я не заметил, как он оказался рядом, и неожиданно почувствовал его тяжелую руку на своем плече.

— Еще бы рейсика три-четыре, — негромко, будто только самому себе, сказал он, — а там не страшно. Вельботы у нас есть, продукты тоже. Разведет льды, и лучше не надо до самого берега дотопаем.

Я не успел ответить: что-то заговорил Шмидт. Мы оба прислушались, прибавляя шаг, и услышали:

— ...теперь скоро. И если не справится один Ляпидевский, Большая земля прилетит еще...

С этого дня на льду осталось девяносто два человека. И как хорошо, что женщины и ребяташки покинули лагерь именно в этот день!

Ночью Арктика решила взять реванш за одержанную над нею победу, выбрав для неожиданного удара самый уязвимый участок — жилой барак. Треск лопнувшей льдины был почти не слышен, хотя и сопровождался сильным толчком.

— Меня будто кто под коленки пнул, — рассказывал ночной дежурный по лагерю Володя Лепихин, — так, понимаешь, и сел на снег. А тут как затрещит в стороне барака, как загрохочет, — ух, ты!..

...Барак заскрипел, зашатался, его разорвало на две части. Все, кто спал в нем, — а еще вчера и женщины и дети ночевали в бараке, — бросились к дверям. Только разоспавшийся в тепле Петя Буйко бултыхнулся в трещину, в ледяную воду, но сразу пришел в себя, выбрался, помчался догонять остальных.

А мы в палатках все еще не слышали ничего за воем опять разгулявшегося ветра. Проснулись, только когда к нам начали врываться «барачники»:

— Братцы, пустите убогих и сирых погреться...

— Долой дворцы, да здравствуют хижини!

Лопнула льдина, разорвало барак, и все опять замерло, остановилось, точно Арктика насытилась своей мстостью. Но мы не верили этой тишине, не спали до самого рассвета. Поили «барачников» горячим чаем, шутили над Петей Буйко, открывшим «моржовый» сезон арктических купаний. И, ожидая, что будет дальше, щедро дымили папиросами, вопреки всем правилам, в верхней одежде и в валенках лежа в спальных мешках.

Так и прошла ночь. А утром восстановили наиболее целевшую часть «дворца» и без особых церемоний водворили ночных гостей в их наполовину уменьшившиеся «апартаменты»:

— Можете дальше жить, друзья: Все нормально!

В этот день наша радиостанция работала и больше и дольше обычного. Могло показаться, что Кренкель, получив новые аккумуляторы, решил вознаградить себя за предельную сдержанность в связи с материком в тот период, когда питания для рации было в обрез. Но Шмидт безвыходно находился в палатке радистов. Туда же позвали и капитана и помполита. Из палатки, ошалело размахивая руками, время от времени выскакивал глотнуть свежего воздуха блаженно улыбающийся Сима Иванов. И все это было настоль-



ко странно, что нам оставалось лишь строить предположения и теряться в догадках.

Ближе к вечеру Сима забегал по лагерю, созывая ребят:

— Скорее в барак, соберитесь всем! На информацию, живо!

Он даже аэродромщиков успел вызвать, просигналив им с вышки, чтобы немедленно явились в лагерь. А когда все собрались, в барак пришел Отто Юльевич Шмидт.

— Прошу прощения, — начал он, — за некоторые секреты, которые нам до сих пор пришлось хранить. Вчера, возвращаясь с аэродрома, товарищи спрашивали, справится ли один Ляпидевский с вывозкой всех людей на материк. Вчера у меня еще не было права

конкретно и точно ответить на этот вопрос, поэтому я отвечал несколько уклончиво. Сегодня, после разговора с Москвой, это право есть. Мой долг — исчерпывающе изложить вам сложившуюся обстановку...

Он продолжал говорить, точно и четко строя фразы, и от каждого слова его, от каждой фразы в душе у меня, у всех нас поднималось такое, чего никогда не испытал быть может, никогда больше не испытает, ни один, кому довелось пережить ледовую нашу одиссею. Оказывается, два дня назад к мысу Олюторскому, на подступах к Восточному Заполярью, пробился сквозь льды и туманы пароход «Смоленск» и высадил группу летчиков Николая Каманина с пятью военными самолетами типа Р-5. К южному побережью Чукотки пробирается пароход «Сталинград» с двумя дирижаблями, двумя самолетами М-2 и одним «Савойя-65» на борту. В Соединенных Штатах Америки куплены два самолета «Флейстер», за которыми срочно выехали известные советские полярные летчики Маврикий Слепнев и Сигизмунд Леваневский. Помимо дирижаблей и самолетов, пароходы доставляют в район спасательных операций аэросани и тракторы. В Японии срочно заканчивает ремонт и готовится выйти на север ледорез «Литке». Из Ленинграда южным путем, через Атлантический, Индийский и Тихий океаны, спешит к Берингову проливу ледокол «Красин»...

— И все это только для того, чтобы нас, девяносто двух человек, спасти и доставить на материк... — тихо-тихо, словно сам пораженный размахом того, о чем говорил, закончил Шмидт.

И тишина наступила в бараке такая, что даже в ушах зазвенело, а может быть, зазвенела, затрепетала вся моя душа. Что было дальше, я смутно помню, а было такое, что можно выразить одним только словом: счастье...

Мы шли домой, к палаткам, вместе с Ворониным, и я не удержался, спросил:

— А вельботы? Или вы тоже сегодня впервые услышали о...

— Знал, — капитан перебил резко, почти сердито. — Но если бы появилась полынья до берега, народу не пришлось бы тратить на нас столько сил.

Он повернулся ко мне, до боли сжал мое плечо:

— Чем мы оплатим за все это? Чем? Жизни не хватит,

всех наших жизней, чтобы хоть долечку отплатить! Эх! — и ушел, почти убежал в темноту.

Как ему трудно, как тяжело не спасать других, а ждать, пока за ним придут, прилетят спасатели!..

...Перелистываю сегодня страницы мартовских записей в своем дневнике. Каждая из них все о том же:

**«13 марта.** Ровно месяц живем на льду. Судя по всему, скоро этой робинзонаде придет конец. Утром из Уэллена сообщили, что АНТ-4 вылетает на мыс Ванкарем, где создается самая близкая к нам спасательная база. Туда самолет доставит горючее и газ для запуска моторов, а завтра совершит в лагерь три рейса и вывезет сорок два человека.

**14 марта.** Погода прекрасная. Ветер норд-вест, четыре балла. С утра началось:

— Все нормально!

— Заводят моторы!

— Через пять минут вылетают!

— Вылетели!

Пошли на аэродром. Прождали машину весь день — не прилетела. Вернулись в лагерь — и вот так новость: после смены карбюраторов левого мотора АНТ-4 поднялся в воздух, потом вернулся, сел, ничего не сообщил, опять поднялся и улетел в направлении вест-норд-вест. Ни в Ванкарем, ни в Уэллен он больше не прибыл. Видимо, совершил где-то вынужденную посадку из-за ненадежного левого мотора. Из Уэллена в Ванкарем на поиски самолета вышли чукчи на собачьих упряжках.

**15 марта.** АНТ-4 еще не найден. Очень тревожно: где же он? На мысе Олюторском закончилась выгрузка пяти Р-5 и двух Ш-2. У нас началась пурга.

**16 марта.** Пурга чертовски сильная. Нет связи с Уэлленом: предполагаем, что там повредило рацию.

**18 марта.** Уэллен сообщает: не долетев десяти минут до Ванкарема, АНТ-4 Ляпидевского из-за порчи левого мотора сел в Колючинской губе, в шести милях от острова Колючин. Самолет сломал шасси и надолго выбыл из строя. Экипаж невредим и позавчера пешком добрался до Ванкарема. Колючин и на этот раз оправдал свою дурную репутацию.

**20 марта.** Вчера из Хабаровска к нам вылетели летчики Водопьянов, Галышев и Доронин. Сегодня они уже прибы-

ли в Николаевск-на-Амуре. Из Москвы в Хабаровск со своим самолетом В-33 выехал поездом летчик Болотов. Во Владивосток отправились водители аэросаней Петерсон и Данилов. Ледокол «Красин» продолжает путь. Пятерка каманинских Р-5 вылетела с мыса Олоторского на бухту Провидения и дальше пойдет на Уэллен.

**23 марта.** Три Р-5 пришли в Анадырь, два в Наварин. У них все нормально. Водопьянов, Галышев и Доронин (старшим в их группе Водопьянов) благополучно прилетели в Нагаево на Камчатке. Здорово идут!

**27 марта.** Где находятся самолеты: два, купленные в США, уже в Номе на Аляске. Наши три в Нагаево, три в Анадыре, два в Наварине. Пурга по всему Северу не позволяет им лететь дальше.

**30 марта.** Вчера из Нагаево вылетела группа Водопьянова и благополучно села в Каменском, на полпути до Анадыря. Из Анадыря на Ванкарем отправились три Р-5, но где они, неизвестно. Из Уэллена сообщили, что в три часа дня над ними промчался и скрылся в западном направлении какой-то самолет. Чей он? И куда девался? Тоже неизвестно. С мыса Северного в Колючинскую губу на собачьих упряжках доставлен новый мотор для АНТ-4. Смешно: «на собачьих упряжках». Вернее было бы сказать — на руках, на упорстве и самоотверженности героев, стремящихся скорее снять нас со льдины!

**31 марта.** Бабушкин дважды поднимался в воздух на своей «шаврушке»: один раз с Жорой Валавиным, второй — со Шмидтом. Говорит, что машина ведет себя нормально, и намерен на ней махнуть на берег. Выяснилось, что вчера над Уэлленом пролетел Леваневский на купленном в США «Флейстере». На борту заместитель начальника Главсевморпути Георгий Алексеевич Ушаков и бортмеханик-американец Клайд Армистед. Самолет шел в пурге и тумане, в воздухе обледенел и вынужден был сесть опять-таки поблизости от проклятой Колючинской губы. Машина разбита. К счастью, экипаж цел. Только Леваневский при посадке поранил щеку...»

Так — весь март, все первые дни апреля... Нам, испытавшим и пережившим очень многое, еще незнакомые, кроме Ляпидевского, летчики представлялись полусказочными, былинными богатырями. Правда, в Ляпидевском ничего бы-

линного или сказочного не было: славный парень, улыбочивый здоровяк с голубыми глазами. Но, конечно, упорнее очень и очень многих: вылет за вылетом, несмотря на дефекты в моторе. И смелее, отважнее: не каждый решится так, как он, лезть черту в пасть — в пургу и полярную мглу — на самолете без рации, без связи с наземными наводящими станциями.

Ляпидевского мы уже знаем, после первого рейса в лагерь он стал для нас своим. А остальные?

Кое-что о них мы слышали, кое-что додумывали сами. Ведь не может же быть, что страна пошлет к нам на помощь неумелых или плохих летчиков! И поэтому жадно слушали, когда Бабушкин принимался рассказывать о том, как Маврикий Слепнев с воздуха обнаружил разбитую машину американца Эйельсона в Колючинской губе, где даже наземные поисковые партии не смогли ничего найти.

— Вот это парень!

И восхищались непревзойденным мастерством полетов Сигизмунда Леваневского в любых, самых сложных арктических условиях:

— Этот наш лагерь даже в пургу найдет!

И удивлялись неистребимому жизнелюбию Михаила Водопьянова, которому, говорят, врачам пришлось после одной из многочисленных аварий скрепить серебряными проволочками вдребезги разбитую челюсть:

— Да ему все чукотские льды нипочем!

Только о Молокове, о Доронине, о Каманине не знали ничего, хотя Людочка Шрадер и сообщала каждый день, как летят-пробиваются они к нашему лагерю без наземных ориентиров и бортовых радиостанций, без какой бы то ни было помощи с земли, совершая уму непостижимые посадки на случайных «пяточках» и вовсе без них...

Лишь позднее узнали подробности этих полетов: когда выбрались на Чукотку, когда плыли на «Смоленске» во Владивосток, когда мчались в стремительном «голубом экспрессе» из Владивостока в Москву.

Леваневский, например, вылетел на своем «Флейстере» из Номы на Аляске с Ушаковым и Армистедом на борту, намереваясь совершить посадку в Ванкареме. Пролетев над Уэлленом, он попал в сплошную облачность и пошел дальше вдоль берега, не видя земли. Чуть не врезался в скали-

стую громаду мыса Онман, но успел увернуться, рванув машину на два километра в высоту. А там — самый страшный враг полярных летчиков: обледенение.

Лед почти двухсантиметровым слоем покрыл и плоскости и кабину. Мороз сковал карбюратор, ледяными пробками законопатил бензопроводы. Мотор заглох, самолет стремительно пошел книзу. И не было видно ни зги: смотровое стекло пилотской кабины тоже сплошь затянуло ледяной коркой.

Раскачиваясь из стороны в сторону, машина падала резкими рывками, грозя вот-вот перейти в штопор. Леваневский высадил кулаком стекло и наконец-то разглядел несущуюся навстречу земле, а немного левее — нагромождение торосов на оледенелом море. К земле нельзя, на лыжах не сядешь, и он бросил самолет в сторону моря, снес ударом о верхушку тороса шасси, и теряя силы, прижал беспомощную машину к покрытой снегом поверхности льда...

Люди остались живы, только летчик получил ранение. Самолет окончательно вышел из строя. Но какое это имело значение, если люди, три человека, остались живы! И хотя Сигизмунду Леваневскому так и не удалось побывать в лагере Шмидта, он все равно был и остался в наших глазах замечательным, необыкновенным героем!

Иначе расценила этот чуть было не закончившийся трагедией полет капиталистическая пресса. Статьями не только своих газетных «стратегов», но и выступлениями зарубежных полярных исследователей она наперебой заговорила о том, что усилия большевиков напрасны, что обреченных на гибель челюскинцев не спасти. Блестящий полет Анатолия Ляпидевского? «Случайность!» Мобилизация самолетов, дирижаблей, пароходов и ледоколов? «Напрасная трата сил, пропаганда!» Самый факт, что вот уже скоро два месяца мы живем на дрейфующем льду? «Кончатся продукты, и они будут есть друг друга!» И в заключение наиболее «веский» довод для подтверждения и утверждения всех этих прогнозов и предсказаний: «Леваневский летел на новейшей американской машине, а долететь не смог. Стоит ли лезть после этого в Арктику на тихоходных и маломощных советских самолетах...»

Странная логика, странное отношение к людям, терпя-



щим бедствие вдали от берегов... Чем оно лучше фокстротов и танго, которыми в ночь после гибели «Челюскина» радиостанция в Номе глушила голос нашего аварийного передатчика? Видно, и впрямь у каждого свое представление и об элементарной человеческой совести и о простой человеческой чести...

Мы слушали не только такие враждебные передачи. В информации ТАСС, которые после прилета Ляпидевского радисты смогли принимать почти ежедневно без опасения слишком быстро израсходовать энергию аккумуляторов, о нас говорилось с неизменным волнением и теплотой. Лодзенские текстильщики из Польши слали челюскинцам горячий братский привет... Копенгагенские кораблестроители выражали готовность построить для нас новое судно... Английские докеры желали бодрости, сил и здоровья... Французские машиностроители беспокоились, по-прежнему ли крепка наша льдина... Русские сталевары, вопреки уже взбесившимся

фашистам, твердо верили, что замечательные советские летчики непременно спасут нас всех...

Ну как было не благодарить, хотя бы мысленно, но от всего сердца наших друзей и как не смеяться, не издеваться вслух над злопыхательскими, полными глупейших выдумок и бессилия «прогнозами» врагов! Жаль, что ни одному из этих «предсказателей» не довелось побывать в ледовом лагере Шмидта. Пускай бы хоть раз взглянул, как «обреченно» и «трагически» жил веселый, наперекор всему неунывающий челюскинский народ!

...Идем после расчистки аэродрома домой до того уставшие, что в пору бы лечь да и растянуться прямо на снегу. Но все же идем, еще и тяжелые сани с инструментами тащим. Только Ваня Нестеров до того измотался, что лямка от саней свободно болтается у него за спиной.

Кочегар Леня Марков заметил это, подмигнул ребятам и, отвязав от саней конец лямки, прикрепил к нему коробок спичек. Так и пошагал Ваня-Нерпочка дальше, ничего не почувствовав. Шагал, шагал, пока не споткнулся о ропачок и не полетел головой в сугроб. Тут только очнулся и уразумел, в чем дело. Вместе с ребятами покатился от смеха:

— Ленька, дьявол, ты же меня мог оставить без головы!

И будто дорога стала ровнее, глаже. И усталости будто нет. И лагерь — да вон же он, совсем уже рядом.

Дома в свободное время тоже не умели скучать. Чуть прояснится погода — все из палаток и из барака на «центральный улицу»: в футбол, в городки, в лапту. Глядя на молодежь, и пожилые тянулись кто к самодельному тряпичному мячу, кто к городошным битам. И уж если возьмет увесистую палку Владимир Иванович Воронин, ребята заранее знают: так ахнет по «пушке» или по «башне», что потом долго придется разыскивать городки, разлетевшиеся бог весть куда!

А вечером обязательно начинались концерты. Или Борис Громов приходил в гости со своим патефоном и набором пластинок, или неразлучный дуэт (Федя Решетников и Мишук Ткач) отправлялся из палатки в палатку на гастроли. Войдут, усядутся и прежде всего — нашу, челюскинскую, самую веселую:

Мы держали здесь один, —  
ах, здарсьте!  
Музыкальный магазин, —  
ах, здарсьте!

Гостеприимные хозяева всегда хором подхватывали припев и этой песни и сочиненного на льдине «Гимна бригады лысых».

Чуть ли не каждый день сочиняли и новые куплеты «Ледового яблочка». Но больше всего еще на корабле полюбились нам веселые «Медвежата», где повествовалось о том, как

Двенадцать медвежат  
Пошли купаться в море,  
И там они играли,  
Резвились на просторе...

На льду после отлета женщин и детей нас осталось девяносто два человека.

Округлив эту цифру до ровных девяти десятков, мы и в песню вставили новый куплет:

Девяносто медвежат  
В палаточках лежат,  
И ждут они, когда  
Их вывезут со льда.

Одно плохо: тосковали по книгам. Мы успели захватить с «Челюскина» только однотомник Пушкина и гамсуновского «Пана», и они всегда были на руках. А без книг, особенно в пурговые дни безделья, на сердце кошки скребли. Читали вслух стихи любимых поэтов. Вспоминали и пересказывали прочитанные романы. Литературный голод решил, наконец, хотя бы частично восполнить ленинградский писатель Сергей Семенов. Основательно потрудившись, он сочинил «Ледового Гайавату» и на специально для этого устроенном литературном вечере в бараке было торжественно оглашено поэтическое творение новоявленного «Айс-Лонгфелло»:

В ропаках в Чукотском море,  
На вершине трех торосов,

Он стоял, владыка ГУСМПа,  
Отто Монито могучий.  
И с вершины трех торосов  
Созывал народ барака,  
Созывал народ палаток.

От следов его струилась  
Майна<sup>1</sup>, в пропасти скрываясь,  
Вся сверкая льдом искристым.  
И перстом владыка ГУСМПа  
Начертал во льдах полярных  
Путь великого похода:  
«Вот наш путь отныне будет!»

От торосов взявши льдинку,  
Из нее он сделал трубку —  
Голубую трубку мира,  
И на ней зарубку сделал.  
И на майне у барака  
Дымовой сигнал поставив,  
Закурил он эту трубку,  
Всех сзывая на собрание.

Дым струился тихо-тихо  
В блеске солнечного утра:  
Прежде темною полоской,  
После — гуще, синим паром,  
Наконец коснулся неба,  
Раскатился над Чукоткой.

От палатки кочегаров,  
От палатки машинистов,  
От матросов, от ученых,  
От барака, от радистов —  
Все и всюду увидали  
Дым призывный трубки Отто.

И старшие всех палаток —  
Кочегаров, машинистов,  
И матросов, и ученых,  
И барака, и радистов —  
Закричали: «То наш Отто!  
Этим синим буйным дымом,  
Что вздымается до неба,  
Он сзывает на собрание,  
На совет нас созывает!»

От палаток, от барака  
Через торосы, через майны  
В теплых малицах оленьих,  
В кожаных куртках,  
В торбасах, ботинках крепких  
Шли старшие всех палаток,  
А за ними кочегары,  
Машинисты и матросы,  
Журналисты от «Известий»,  
От «Вечерки», «Комсомолки».  
Шел Баевский-Меджикивис,  
Аэролог Жиринопупов<sup>1</sup>,  
Шел хитрейший Попокивис<sup>2</sup>,  
Повелитель всех циклонов  
От Колымска до Аляски,  
Что считал себя ученым;  
Шел задорный Гайавата —  
Ваня Копусов вихрастый;  
Шел старейший из партийцев  
Алексей Бобер<sup>3</sup> редчайший;  
А за ним спешили в ногу  
Повелители науки  
Во главе со Хмызей Толстым<sup>4</sup>.

Позади всех снег топтали  
Штурманá, народ ретивый.  
Все спешили, как умели,  
Пред лицо владыки ГУСМПа.  
Отто Монито могучий,  
Севморпуть создавший людям,  
Поглядел на всех с участием,  
С отчей жалостью, любовью,  
Поглядел он на махистов,  
На котят идеалистов,  
Механистов, прочих «нстов»,  
Диалектики не знавших.

И величественный голос,  
Голос, шуму вод подобный,  
Шуму многих сильных сжатий,  
Прозвучал ко всяким «истам»:  
«Вам дан разум и сознание,  
Вы учились в многих вузах,  
На рабфаках, в институтах,

<sup>1</sup> Майна — замерзшая полынья, трещина во льду.

<sup>1</sup> Шпаковский.

<sup>2</sup> Метеоролог Комов.

<sup>3</sup> Бобров.

<sup>4</sup> Хмызников.

Вы росли в Стране Советов,  
Воспитавшей вас с любовью  
Для того, чтоб помогали  
Вы в делах ее великих.

Почему же, как слепые  
Двухнедельные щенята,  
Вы блуждаете в потемках  
На путях наук всех ваших?  
Ваша сила — в диамате:  
Он укажет путь в науках,  
Он наставником вам будет,  
Всем его законам мудрым  
Вы должны внимать покорно!

И умножатся успехи,  
Достиженья и открытия,  
Что вас ждут, когда вернетесь  
В край родимый, в край советский.  
Если ж будете вы глухи —  
Вы останетесь, чем были». —  
Так сказал владыка ГУСМПа,  
Отто Монито могучий.

«Ледовый Гайавата» пришелся по душе всем: автору поэмы как нельзя лучше удалось подметить и отобразить в ней подлинную увлеченность «Отто Монито могучего» — Отто Юльевича Шмидта партийной, пропагандистской, воспитательской работой, в которой он и на судне и на льду принимал самое непосредственное и горячее участие. Шмидт часто рассказывал нам о Владимире Ильиче Ленине, с которым работал в первые годы советской власти, проводил беседы по истории Коммунистической партии, читал лекции по историческому и диалектическому материализму. Он считал своим партийным долгом лично проводить политинформации для всего состава экспедиции и, несмотря на огромную загруженность, находил время, чтобы написать статью в корабельную стенную газету.

Выступил Шмидт с передовой статьей и в стенгазете «Не сдадимся!», первый номер которой вышел всего лишь на четвертый день после гибели «Челюскина». В этой статье Отто Юльевич писал:

«Мы на льду, но и здесь мы — граждане великого Советского Союза, и здесь мы высоко держим знамя Республики Советов. Весь мир следит за нами. Покажем же, как даже



в такой исключительной обстановке работают советские граждане под руководством своего правительства и Коммунистической партии!»

Зволованным призывом заканчивалась заметка Сергея Семенова:

«Челюскина» нет. Да здравствуют челюскинцы! Да здравствует дело челюскинцев!»

Борис Громов посвятил свое выступление памяти завхоза Могилевича:

«Борис Могилевич умер на боевом посту... Прекрасный, честный работник, он был нашим общим другом, незаменимым товарищем. Имя Бориса будет жить в наших сердцах...»

И, как всегда, большое место в стенгазете занимали полные юмора и остроумной выдумки рисунки и шаржи Феди Решетникова. Белый медведь, морж и нерпа требуют у Шмидта вид на жительство на льду... Кренкель поддерживает радиосвязь с материком, а палатка настолько мала, что с одной стороны ее торчат ноги радиста, с другой — голова с наушниками... Из крошечной палатки выглядывает огромная голова начальника экспедиции с примерзшей ко льду бородой: Отто Юльевич отдыхает после трудной работы в лагере.

За два месяца жизни на льду вышли три номера стенгазеты «Не сдадимся!». Четвертый, но уже «Не сдались!», увидел свет на чукотском берегу, в Ванкареме.

И мы действительно не дрогнули, не сдались до самого конца!



## Ледовая одиссея

У Решетникова появился еще один рисунок: внутренний вид брезентовой палатки, тускло освещенной подвешенным к коньку фонарем «летучая мышь». Под фонарем, прямо на полу, сидят и лежат наши ребята. Только один человек справа на переднем плане что-то сосредоточенно пишет, подвесив над самой бумагой коптилку из консервной банки. И подпись: «Заседание бюро комсомольской ячейки».

Следует добавить — единственное заседание, состоявшееся в самые первые дни лагерной жизни, потому что, кроме него, комсомольское бюро не собиралось больше ни разу. Да и нужды в этом не было: новые, чрезвычайные условия требовали новых, отличных от прежних форм работы. Если раньше, на корабле, мы могли работать по определенному, заранее составленному плану, так теперь никто и понятия не имел, что будет с любым из нас буквально завтра. Потому и решили на заседании бюро, и Миша Ткач занес это решение в протокол: комсомольцы на льду, как и коммунисты, только там, где труднее, опаснее всего. А это и есть наш комсомольский долг, наша комсомольская работа.

— Учтите, ребята, — напомнил Мишук, — после гибели



ли Бориса нас опять всего лишь семнадцать. Это немного... Но надо сделать так, чтобы мы были везде, а значит, каждому придется работать за десятерых. Что скажут коммунисты, куда пошлют Шмидт и Воронин, там быть нам самыми первыми.

Самыми первыми... Мы и старались быть ими. Недаром позднее, на Большой земле, Отто Юльевич писал:

«Создание крепкого коллектива было главным условием для преодоления тех больших трудностей, с которыми мы встретились. Велика в этом деле роль партийной и комсомольской организаций «Челюскина».

Ребята великолепно поняли свою задачу в нашей сложной обстановке, особенно на льдине. Комсомольцы не только выполнили значительную часть общей работы, но вместе с партийцами были основным цементом, скреплявшим весь

коллектив. Комсомольцы внесли много живой инициативы и были образцом бодрости в любых условиях.

Все комсомольцы и комсомолки должны работать так, как работали комсомольцы в ледовом лагере!»

Каждый — за десятерых, так сказал Миша Ткач. Значит, семнадцать ребят — это огромная сила, на которую полностью может положиться партийная организация и смело опираться руководство экспедиции!

Сандро Погосов и Витя Гуревич жили в отрыве от лагеря, на аэродроме, несли непрерывную вахту на самом передовом посту битвы с ледяной арктической стихией.

Федя Решетников — в палатке с учеными, Боря Виноградов — со штурманами, Геша Баранов и Виктор Синцов — с матросами, Валя Паршинский и Вася Громов — с кочегарами. Юру Морозова мы специально поселили в барак к нашим «старичкам», чтобы и там был хоть один комсомолец. Дора Васильева с дочерью улетела на самолете Ляпидевского. А остальные семеро поместились в одной, в Комсомольской палатке. И если наша палатка, палатка Кожаных комиссаров, стала штабом челюскинских коммунистов, Комсомольская, где неизменно верховодил Мишук Ткач, привлекала к себе всю челюскинскую молодежь.

Была на льдине и еще одна палатка. Самая, пожалуй, благоустроенная. Но и самая, откровенно говоря, отсталая в моральном, в волевом, что ли, смысле. В ней жили плотники и печники. Я не хочу обидеть никого из них, но в то время, тридцать с лишним лет назад, они внушали серьезные опасения и Шмидту и всем нам своею угнетенностью на льдине, подавленностью свершившейся катастрофой, глухим, затаенным неверием в то, что всех нас спасут. Особенно чувствовалось это в самые первые лагерные дни. Но когда, по поручению секретаря партячейки Задорова, мы взяли негласное шефство над плотниками, они начали постепенно и успокаиваться и освобождаться от давящего, гнетущего чувства безысходности и страха. Сегодня Решетников с Ткачом пришли песни петь, завтра Паршинский с Громовым тянут играть в футбол, послезавтра Сандро Погосов с аэродрома на часок прибежит и таких анекдотов нарасказывает, что животики надорвешь... Где уж тут о своих страхах думать. Тем более, когда ребята, не сговариваясь, твердят одно:

— Скоро летим на берег!

Скоро. А когда?

Хоть и отремонтировали мы «шаврушку» еще на «Челюскине», хоть и склепали, склеили, связали веревками и проволокой все ее части и на льду месяц с лишним продолжали мучиться со «стрекозой», все равно не очень верилось, что многострадальному самолетику суждено подняться в воздух...

Ну какой это самолет? Крылья чуть ли не сплошь покрыты заплатами. Лыжи к станинам шасси вместо стальных болтов привязаны пеньковыми веревками. Хвостовое оперение прикручено железной проволокой. Не самолет, а донсторическая редкость, музейный экспонат. Короче говоря — «гроб».

И все же Михаил Сергеевич Бабушкин не терял надежду:

— Пожалуй, взлетит...

Его бортмеханик поддакивал:

— Должна взлететь. Что мы, зря на нее столько сил потратили?

Главный закоперщик в ремонте машины Сандро Погосов утверждал:

— Обязательно взлетит!

А мы, «серые», в авиационной технике «лопухи», многозначительно хмыкали:

— Взлететь-то взлетит, да только где и как сядет?..

Кончились эти сомнения тем, что Бабушкин усадил во вторую кабину вместо балласта Валавина, погонял, погонял на пробу «шаврушку» по аэродрому и... взлетел! И не просто взлетел, а еще и описал под наши восторженные вопли два огромных круга над лагерем, залихватски покачивая крыльями, и мастерски, как пушиночку, посадил «стрекозу» на лед! Выскочил из кабины сияющий, подбежал к Отто Юльевичу:

— Хотите попробовать? Прокачу с ветерком!

Мы думали, Шмидт откажется. Но такой уж он был человек, что считал своим неременным долгом лично проверить и испытать все, грозившее опасностью любому из нас. А «шаврушке» необходимо было летать. После аварии обоих самолетов Ляпидевского к этому вынуждали сами обстоятельства. И Шмидт согласился:

— Пошли!

Они спокойной, неторопливой походкой направились к самолету: Бабушкин — грузный, внешне тяжеловесный, в жел-

том меховом реглане, профессор — тонкий, чуть сутулящийся, в шерстяной куртке выше колен. Забрались в кабины, закрепили на груди крест-накрест широкие брезентовые ремни. Погосов крутнул винт, и мотор зачихал, задымил, закашлял, постепенно до басистого рева выравнивая свой голос. И самолетик, по-утиному переваливаясь медленно-медленно тронулся с места.

Разбег... Взлет... Круг над аэродромом... Посадка...

— Ф-фу!.. — точно бы выдохнул всю пережитую нами тревогу Пекарь-Метеоролог.

А Пип и на этот раз не преминул подкрутить несуществующие «усы»:

— Подобные зрелища, конечно, не для слабонервных.

Спокойнее всех чувствовали себя участники небывалого, невиданного полета на стопроцентном воздушном «гробу». У Бабушкина глаза поблескивали от удовольствия, Шмидт тщетно пытался упрятать в бороду лукавую, почти мальчишескую улыбку. Так и казалось, что сейчас один попросит разрешения, а другой разрешит ему лететь на берег!

Но ледовый комиссар сказал другое:

— Хорошенько просмотрите самолет еще раз, товарищи. Все проверьте, каждую вашу... веревку, каждую деталь в моторе...

Просмотрите, проверьте, а зачем? Не летать же «стрекозе» на побитие мирового рекорда дальности. До берега и то вряд ли дотянет. Разве что здесь, в районе лагеря, для ледовых разведок, для поисков новых посадочных площадок пригодится: вместо полутора тысяч оборотов в минуту ее мотор едва набирает тысячу триста, не работает, как ни бейся над ним, показатель температуры масла, стрелка компаса застыла, как мертвая...

Но, оказывается, Бабушкин с Валавиным уже решили:

— Летим!

Им удалось уговорить, упросить, убедить Шмидта, и Шмидт разрешил:

— Летите.

И 2 апреля, в погожий, безветренный день, все население лагеря проводило Михаила Сергеевича и Жору на аэродром, где Саша Погосов и Виктор Гуревич с рассвета прогревали мотор «шаврушки».

Ничто не выдавало волнения летчика. Внешне он был, по-

жалуй, спокойнее и флегматичнее, чем обычно. И только короткие, отрывистые фразы, которыми обменивался он со своим механиком, только возбужденная суетливость Валавина свидетельствовали о том, что оба знают, на какой риск идут.

«Сядут где-нибудь между лагерем и берегом, и не найдем», — мелькнула у меня тревожная мысль. Об этом, как видно, подумали многие ребята, потому что стало так тихо, как бывает, когда на твоих глазах совершается нечто, далеко выходящее за рамки привычного...

Ни Бабушкин, ни Валавин не попрощались с нами, как положено при отлете. Уселись в кабины, прикрепились ремнями, и только взмахами рук: «Пока!»

Погосов качнул амфибию с боку на бок, чтобы оторвались примерзшие ко льду лыжи. Самолет тронулся, побежал быстрее, быстрее и неохотно, с трудом начал набирать высоту. Чуть накренившись на правое крыло, он начал описывать плавный круг, но вдруг оборвал его на половине, выровнялся, лег на горизонтальную прямую в сторону берега и... растворился в воздухе, исчез!

Только на полчаса хватило у нас терпения ожидать, не вернется ли «стрекоза», а потом сломя голову — в лагерь! И первым, кого встретили там, был Бобров.

— Бабушкин улетел! — закричали ребята. — Он и Валавин...

— Знаю, — помполит помахал листком радиogramмы, принятой Кренкем. — В тринадцать часов двенадцать минут Михаил Сергеевич благополучно приземлился на Ванкаремском аэродроме.

Дерзкий прыжок нашего летчика на «воздушном гробе» стал как бы переломным моментом в ходе спасательных операций.

3 апреля, несмотря на сильную пургу — «циклон в циклоне», как назвал ее метеоролог Комов, — летчик Маврикий Слепнев вылетел из Номы на Аляске на втором купленном в США «Флейстере» и через пятнадцать минут совершил посадку в Уэллене.

5 апреля командир группы Р-5 Николай Каманин в паре с Василием Молоковым тоже добрался, наконец, до Уэлленского поселка.

Водопьянову, Галышеву и Доронину оставался последний воздушный скачок — в Ванкарем.

Начальник спасательной партии на пароходе «Сталинград», заслуженный полярник Красинский радиовал, что судно с дирижаблями, самолетами, тракторами и аэросанями максимум через десять дней прибудет в бухту Провидения на Чукотке.

После жестокого девятибалльного шторма в районе Азорских островов ледокол «Красин» лег на прямой курс к Берингову проливу.

Помощь была близка. Но... успеет ли помощь?

Арктическая весна уже шагала по всему Северу, дыхание ее мы уже ощущали на нашей льдине. Днем под ногами чавкал пропитанный талой влагой снег, в углублениях на льду накапливались чистые-чистые, прозрачные озера пресной воды. Плакали хрустальной каплей ропак и торосы. На солнце было так тепло, что хоть сбрасывай зимнюю одежду.

Весна...

Но не так страшно было солнце, как теплые ветры, все чаще налетавшие с юга. Дрейф стал устойчивым, почти неизменным: медленно, неуклонно лагерь несло на север. Где-то у берегов Чукотки должны были вот-вот появиться большие участки чистой воды, и тогда ветер начнет ломать ледяные поля: сначала там, потом постепенно ближе к лагерю и, наконец, взломает у нас. Начнет или уже начал?

Три дня назад трещина вывела из строя первый аэродром... Позавчера исторосило, изломало третий... Вчера от четвертого оторвало и унесло подвижкой добрую половину... Только второй пока невредим. Надолго ли?

Работая от темна до темна, мы расчищали новые посадочные площадки. Работали... чем? Две пещни, два лома, несколько самодельных лопат и собственные руки — вот и весь инструмент. Зато злости у нас было хоть отбавляй, и посадочные площадки продолжали ждать самолетов!

Так и 7 апреля было, когда только-только собрались выходить на расчистку, как вдруг Кренкель принял по радио сообщение с берега: на Ванкаремский аэродром сели Слепнев, Молоков и Каманин.

— Летчики знакомятся с аэродромом, — предупреждал берег, — после чего отдохнут и вылетят в лагерь. Приготовьте очередную партию улетающих.

Три самолета сразу? Невероятно! Но Сима уже торопил нас, гнал из лагеря:

— Быстрее, черти, не будут же они ждать!

Мы мчались так, что тяжелые сани будто перелетали с ропака на ропак. А позади, на сигнальной вышке, еще больше торопя «лошадей», продолжали развеиваться на ветру два флага:

— Самолеты в воздухе!

Гул моторов услышали, когда до посадочной полосы оставалось несколько сот метров, а еще через минуту увидели странный, незнакомой конструкции моноплан, описывающий над лагерем стремительный и широкий круг. Поблескивая оранжево-красными плоскостями и густо-синей полировкой фюзеляжа, самолет выровнялся и пошел на посадочную площадку. Наверно, Слепнев...

Сани стали совсем невесомыми: мы примчались на аэродром, когда самолет заканчивал второй круг, прицеливаясь к посадочной полосе. Но, промахнувшись, он сделал еще заход, убавил газ. Ударом бокового ветра машину сбilo с прямой, подбросило, повернуло по диагонали так, что она едва коснулась лыжами льда лишь на самой середине аэродрома.

Все мы оцепенели: слишком велика посадочная скорость у оранжево-синего американца... Слишком большое расстояние нужно ему, чтобы погасить эту скорость... Может, и погасил бы, если б успел коснуться лыжами рядом с «Т»...

«Флейстер» промчался дальше, до конца расчищенного поля. Запрыгал, заковылял по буграм за отмеченной флажками границей его. Он несся прямо на трехметровой высоты отвесный ропак. И вдруг, как живой, взревел, рванулся, перепрыгнул через ропак и замер, беспомощно подняв к небу правое крыло...

— Все... — сдавленно вырвалось у Воронина. — Готов...

Мы бросились к самолету изо всех сил, напрямик, увязая в рыхлом снегу: живы ли люди?! И едва подбежали к нему, как распахнулась дверца в синей кабине и из нее на снег с лаем прыгали мохнатые, остроухие чукотские собаки. Вслед за собаками выпрыгнул и Георгий Алексеевич Ушаков, а за ним и Слепнев, управляющий на голове щеголеватую форменную фуражку с лакированным козырьком.

— Отто Юльевич, — подошел он к начальнику экспедиции, — я сделал все, что мог!

— Даже больше, чем следовало, — заставил себя улыбнуться профессор и протянул руку. — А самолет?

Летчик бровью не повел в ответ на завуалированный упрек. Вытянул руки по швам:

— Разрешите осмотреть машину?

— Пожалуйста, — и Шмидт, обняв Ушакова за плечи, медленно пошел с ним к аэродромной палатке.

«Флейстер» сильно врезался лыжами в лед. От удара о ропак между шасси лопнула пружинная стяжка, левую станину сорвало с креплений, и она отошла в сторону. Повредило и хвостовое оперение.

— Не беда, — упрямо тряхнул головой Слепнев, вместе с нашими механиками осмотрев поломки, — мой парень придет, что нужно, и починит. Наковальня у вас есть?

Саша Погосов робко признался:

— Нету...

— А горн, чтобы нагревать заклепки?

Толя Колесниченко сказал тверже:

— Нет.

— Ну, а хотя бы слесарные тиски?

Миша Филиппов даже глаза вытаращил:

— Что вы, товарищ Слепнев! Откуда им взяться?

И только Пип, иронически подкрутив «усы», ответил на недоуменное «Так что же у вас есть?!»:

— Мы есть. А значит, есть все, что вашей душе требуется. Компрэнь?

Летчик рассмеялся:

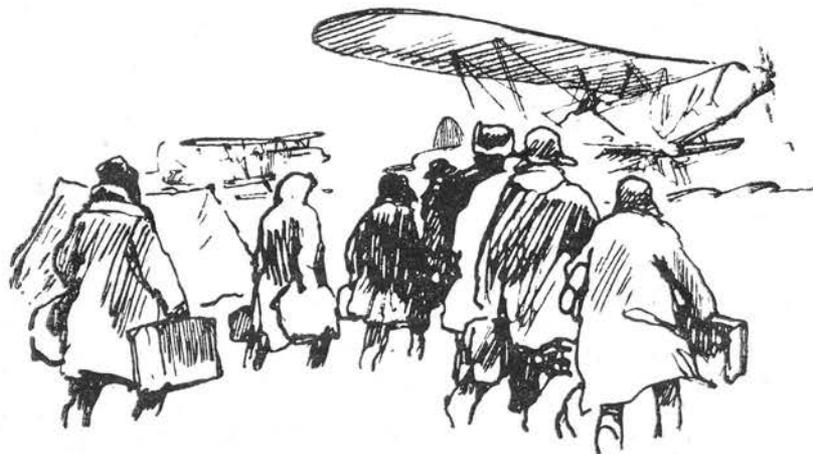
— О'кэй, сэр, с вами не пропадешь! Мой парень придет что надо, и мы поставим эту калеку на крепкие ноги!

«Мой парень»... Это еще кто? Оказалось, речь идет о слепневском бортмеханике, американце Уильяме Левари, оставшемся ожидать своего «шефа» в Ванкареме. Летчик вытащил из кармана коричневых бриджей изящный блокнот, сбросил на листке несколько слов и протянул Симе Иванову:

— Можно быстренько передать на берег?

А Сима отдал листок мне, самому длинноногому во всем лагере:

— Давай, Джек, одна нога здесь, другая там: аллюр три креста прямо к Кренкелю!



Но бежать не пришлось: боцман Загорский, помимо всех своих исключительных качеств, оказался заправским собачьим погонщиком-каюром. Он уже собрал и запряг в нарту привезенных с материка собак, и едва я успел прыгнуть на сани, как упряжка с такой скоростью рванула по дороге к лагерю, что ропаки и торосы замелькали перед глазами. Путь, на который двуногие «лошади» тратили часа полтора, не занял и десяти минут. А в лагере Кренкель немедленно передал по радио изнывающему в неизвестности американскому парню приказание его «шефа» съездить к разбитой машине Леваневского, снять с нее все необходимое для ремонта застрявшего у нас «Флейстера» и с первым же самолетом отправить в ледовый лагерь Шмидта. Немедленно! И еще через три минуты из Ванкарема пришел ответ: «Поздравляю. Выезжаю исполнять приказание. Не забудьте слить масло. Ваш Уильям Левари».

Загорский поднял собак:

— Джек, айда назад. Держись за нарту, как бы не вылетел на поворотах. Ат-гау!

Вернулись мы на аэродром, когда ребята и кабину самолета успели уже разгрузить и машину перетащили из ропак на ровное место. Деловито, как будто не произошло ничего особенного, Слепнев командовал работой наших маши-

нистов. А прочитав ответ своего бортмеханика, потер ладонь о ладонь:

— Порядочек! Будет летать, как новенькая!

Все были так заняты беднягой «Флейстером», что на время забыли еще о двух самолетах, Молокова и Каманина, вслед за Слепневым вылетевших из Ванкарема. Щеголеватый «американец» быстроходнее наших Р-5, он далеко обогнал их. Но времени прошло много, пора бы и им появиться. Так где же они? Не повернули ли назад, не найдя лагерь?

И, словно в ответ, в небе послышался нарастающий шум моторов.

Самолеты шли к аэродрому, держась в кильватер. Снизу они показались маленькими, чуть больше нашей «шаврушки», и точно так же, как она, начали неторопливо описывать «пристрелочный» круг над посадочной площадкой. Потом первый из них, а за ним второй пошли вниз, оба точно коснулись лыжами черного знака «Т» и после небольшой пробежки подружили прямо к аэродромной палатке.

Я с невольным упреком взглянул на Слепнева: «Хоть ты и не виноват, а эти два зеленых работяги нравятся мне больше, чем твой расфуфыренный «американец»...

Из открытых кабин самолетов выпрыгнули на снег три человека, подошли к Шмидту, откозыряли:

— Летчик Молоков.

— Лейтенант Каманин.

— Штурман Шелыганов...

И... даже чуточку обидно стало: до чего просто, до чего буднично произошла долгожданная встреча! Ни бурной радости, ни криков и объятий, как месяц назад с Ляпидевским. Ни испуга, как полчаса назад, когда Слепнев заковылял на своем длинноногом красавчике с ропака на ропак. Два самых заурядных одномоторных самолета с красными звездами на крыльях... Три тоже обыкновенных русских парня в летных комбинезонах и таких же, как у нас, порядком изношенных серых валенках...

Рядом с ними Слепнев выглядел очень эффектно: в новенькой форменной фуражке с лакированным козырьком, в короткой, выше колен, меховой куртке-камлейке, в высоких шнурованных сапогах. Точно не к черту в зубы, не в Арктику собрался, а на воздушную прогулку, на какой-

нибудь благоустроенный, оборудованный по последнему слову техники аэродром.

Впрочем, почти так у него и было: из Нома — в Уэллен, оттуда — в Ванкарем и, наконец, к нам в лагерь... А этим троим и лететь пришлось дальше, и пережили они за время полета больше, чем, может быть, перенес и пережил на таком же «Флейстере» даже потерпевший аварию Сигизмунд Леваневский.

Отряд Николая Каманина состоял из пяти самолетов, которыми командовали четыре военных летчика — Каманин, Пивенштейн, Демиров и Бастанжиев и гражданский пилот Молоков. Выгрузившись с парохода «Смоленск» на мысе Олюторском, они через два дня совершили первый скачок на пятьсот километров, в чукотское стойбище Майна-Пыльгин, ни разу за весь путь не увидев клочка земли, пригодного для посадки. На следующий день в направлении на Анадырь сумели вылететь только четыре машины: из-за порчи пускового приспособления самолет Бастанжиева задержался в Майна-Пыльгине. Вернулся к нему и Демиров, в воздухе потерявший ориентировку, а Молоков, Пивенштейн и Каманин спустя три часа неимоверно трудного полета приземлились в Анадыре. Шесть суток держала их здесь взбесившаяся пурга, пока, наконец, удалось опять подняться в воздух. Но не успели пролететь и двухсот километров, как пурга снова навалилась на машины. Спасаясь от нее, летчикам пришлось изменить курс в направлении восточного берега залива Креста. Садились почти в темноте, не зная, куда садятся, и все-таки сели благополучно, рядом с маленьким, всего лишь из пяти чукотских яранг, стойбищем Кайнергин.

Их было вместе со штурманами и бортмеханиками девять человек в трех машинах, и не оставалось ничего другого, как всем девятерым ночевать в наспех разбитой брезентовой палатке. Однако ночью и это ненадежное укрытие сорвало штормовым ветром, а самолеты по самые крылья занесло сугробами снега. С трудом откопали их, прогрели моторы — и в полет!

Казалось, все трудное уже позади: еще часа три — и Ванкарем. Но не успели пролететь и двадцати минут, как непроглядные облака скрыли землю: ни к Ванкарему, ни к бухте Провидения, ни назад, к Кайнергину, не пробиться. И все же

летели, продолжали лететь до тех пор, пока в баках оставался бензин. Сели чудом. При посадке лопнул амортизационный шатун шасси на самолете Каманина. Ни заменить его, ни хотя бы отремонтировать было нечем.

Николай Каманин — командир звена. Василий Молоков — гражданский летчик. Борис Пивенштейн — летчик военный. Как должен поступить в сложившейся ситуации командир звена? Он приказал слить бензин из баков поврежденного самолета и разделить поровну на обе исправные машины. И, скрепя сердце, вынужден был приказать боевому другу Борису остаться возле машины, а сам вместе с Молоковым улетел в бухту Провидения.

И вот теперь оба они стояли возле своих самолетов на нашем аэродроме: небольшого роста, худощавый, розовощекий, похожий на строгую девушку в комбинезоне, комсомолец Николай Каманин и пожилой, с красными от усталости глазами, с иссеченным ветром лицом коммунист Василий Молоков. Шмидт поздоровался с ними, а сам, незаметно толкнув меня локтем, показал глазами на левый валенок Молокова, из которого из-под оторванной подошвы торчал уголок портянки. Я понял профессора и поспешил к собачьей упряжке Толи Загорского:

— Летим в лагерь!

А через двадцать минут протянул Молокову пару новых валенок:

— Дядя Вася, примите наш подарок!

Летчик смутился, покраснел, замахал руками:

— Да что вы, братцы, я обойдусь...

Нам пришлось уговорить его переобуться тут же на аэродроме.

Коротки, быстротечны весенние дни в Арктике. Надвигался серенький апрельский вечер, и летчики заторопились в Ванкарем. Молоков усадил в штурманскую кабину своего самолета трех пассажиров, а в каманинский, рядом с Шелыгановым, втиснулись двое наших ребят. Пять человек за рейс? Не густо... Если и дальше так пойдет, много же рейсов придется им совершить...

Сандро Погосов отвел самолеты в дальний конец взлетной дорожки, придерживая за крыло, помог развернуться. Машины одна за другой ушли в предвечернюю высь. Слепнев и Ушаков остались с нами.

Пошли домой: поздно уже, да и холодно, и очень хотелось поговорить с гостями.

Много и интересно рассказывал в тот вечер Георгий Алексеевич о жизни Большой земли. Под потолком переполненного барака неярко помаргивали три фонаря «летучая мышь». В модельных железных печках негромко гудело пламя, а мы — кто сидя, кто лежа на малицах и спальных мешках вдоль стен — слушали рассказы Ушакова.

О том, как на помощь нам поднялась вся Советская страна. Как председатель правительственной комиссии Валериан Владимирович Куйбышев лично отбирал летчиков для участия в спасательных операциях. Как с первых дней после гибели «Челюскина» в ЦК ВЛКСМ хлынули тысячи заявлений и комсомольцев и молодых патриотов с просьбой направить их на работу в Арктику, на освоение Северного морского пути...

Говорил Ушаков и об Америке, где со Слепневым и Леваневским ему недавно довелось побывать.

— В Номе, например, — улыбнулся Георгий Алексеевич, — для вас давно подготовлены госпиталь, врачи, медикаменты и даже продукты: американцы ждут, когда мы попросим их заняться спасением челюскинцев. Они уверены, что без их помощи большинство из вас обречено на гибель. Многие видные авиаторы Америки, в том числе и знаменитый летчик Гарри Брунс, готовы вылететь к вам в лагерь и удивляются, что мы их не зовем.

— А зачем? — искренне удивился Миша Ткач. — Разве у нас своих летчиков не хватает?

— Хватает, — согласился Ушаков, — но от Номы до Ванкарема в несколько раз ближе, чем от нашего Владивостока или Хабаровска. Поэтому и пришлось купить в Штатах два «Флейстера»: чтобы быстрее добраться к вам. Мы бы и против американской помощи не возражали, если бы... — Он сделал короткую паузу и продолжал с горьким сарказмом: — Если бы разговоры о помощи носили не пропагандистский, а деловой, практический, дружественный характер. Не спорю: Гарри Брунс и его друзья искренне хотят помочь. А так называемые «деловые люди» Америки? А их пресса? Да они же на весь мир трубят о бессилии советской авиации! По их словам, у нас и техника несравненно слабее, и находится она за тысячи километров от Чукотки, и летчики, изви-

ните, ни к черту не годятся! Одним словом: хочешь не хочешь, проси о помощи... Скажите, товарищи, могло ли после всего этого наше правительство обращаться к ним с просьбой?

— Ну уж нет, — хватил Вася Громов кулаком по столу, — не дождутся! Хоть месяц, хоть два просидим на льдине, а просить не станем!

— И напрасно, синьор, — подал голос откуда-то из полумрака Пип. — Я бы специально пригласил мистера Брунса в лагерь.

— Это еще зачем?!

— Чтобы он мог собственными глазами убедиться, нуждаемся мы в их помощи или нет.

Реплику маленького машиниста покрыл дружный смех: вечно придумает что-нибудь, неугомонный... Поднялся Слепнев:

— Кстати, о помощи. Мне вспоминаются события пятилетней давности. Когда я искал и нашел на Чукотке тоже знаменитого американского летчика, участника антарктической экспедиции, полковника Карла Бена Эйельсона и его механика Борланда. Казалось бы, кому, как не самим американцам, искать их? Тем более, что одновременно с нами, почти рядом, тогда работали такие опытные американские авиаторы, как Ионг, Кроссен, Гильом. Но им было не до поисков товарищей. Они делали бизнес: вывозили пушнину с зажатой во льдах свенсоновской шхуны «Нанук». И пришлось искать мне с моими ребятами. Нашли и Эйельсона и Борланда. Вернее, трупы их обнаружили под снегом в тундре. А потом по просьбе государственного департамента мы и доставили останки погибших в город Фэрбенкс на Аляске.

— А мне думается, — сказал Сергей Васильевич Гудин, — что дело не в болтовне о помощи нам, не в той чепухе, которую городят американские газеты и радио, выдумываемая небыллицы о наших летчиках и самолетах. Дело в их уверенности, что без помощи американцев мы обязательно должны погибнуть. Тут уж извините: пускай хоть десять Гарри Брунсов сразу прилетают, лично я с ними лететь из лагеря не соглашусь. Никто не согласится: жили до сих пор, будем и дальше жить. наших дождемся. С нашими и домой, а не в Америку полетим. Верно я говорю, товарищи?

Даже язычки пламени дрогнули в стеклянных колпаках

фонарей — таким громом аплодисментов встретили ребята эти слова всегда молчаливого старшего помощника капитана. Но пора было заканчивать: завтра с самого утра опять за работу, встречать и провожать не американских, а наших летчиков. И «палаточники» потянулись к выходу из барака.

Я слышал, как по дороге домой Шмидт негромко и устало говорил шагавшим рядом с ним ученым:

— Несмотря на трудности, наша жизнь на льдине имеет, несомненно, положительные стороны: накопление опыта. Для более глубокого изучения Арктики есть смысл в ближайшие же годы организовать высадку с самолетов на льды специально подготовленных групп.

— Что это даст? — осторожно спросил Гаккель.

— Многое... Метеорологические наблюдения. Изучение глубинных течений, рельефа дна, процессов ледообразований, зарождения полярных циклонов. Чем ближе к Северному полюсу, а еще лучше на самом полюсе, тем более драгоценные данные соберут исследователи для нашей Родины и для всей мировой науки. Силы и средства для этого, вопреки мнению американцев, у нас найдутся. Найдутся, я уверен, и отважные люди...

— Запишите меня, — подал голос из темноты Эрнест Кренкель.

— А для меня место найдется? — мягко спросил Петр Петрович Ширшов.

— Ну-ну, к чему такая поспешность? — рассмеялся профессор. — Вернемся в Москву — подумаем, посмотрим, что может получиться. — И еще тише добавил: — Странное у меня состояние... Почему-то все время кружится голова...

Он явно хотел переменить тему разговора. Не знали мы в тот вечер, что для себя лично ледовый комиссар уже давно решил этот вопрос. Спросил, чтобы услышать, что ответят близкие, проверенные люди, и остался доволен их ответом. И когда на Северный полюс отправилась первая дрейфующая полярная станция «СП», в числе папанинской четверки совершенно не случайно оказались и Кренкель и Ширшов...

...С вечера мы были уверены, что завтра Каманин и Молоков опять совершат посадку, и, может быть, не одну, на нашем аэродроме. Однако вышло иначе. Утром погода испор-

тилась, и Молоков целых два часа напрасно разыскивал лагерь, но, так и не обнаружив нас, был вынужден вернуться в Ванкарем. Каманин не вылетал совсем. А мы, не дождавшись машин, отправились на расчистку очередной посадочной площадки, где и проработали дотемна.

Пришли к ужину домой, и будто гром среди ясного неба: Отто Юльевич тяжело заболел! Вот, оказывается, почему он накануне вечером жаловался на головную боль, почему так тихо и устало звучал его голос... Сказался вчерашний поход на аэродром, где Шмидт несколько часов простоял с нами на ветру и морозе, встречая и провожая самолеты. Сказалось и сверхчеловеческое напряжение почти двухмесячной жизни на льдине, подточившее и без того не могучий организм начальника экспедиции...

Мало кто из нас знал, что Отто Юльевич с юношеских лет страдает туберкулезом легких. С годами процесс то прогрессировал, то опять затухал, как это нередко бывает у туберкулезных больных. Но не таким по своей натуре, по характеру своему человеком был ледовый комиссар, чтобы поддаться недугу, сделать борьбу с ним главной целью жизни. Надо было беречься, остерегаться простуд — он отправлялся в труднейшую экспедицию на Памир. Врачи настаивали на длительном лечении в санатории — уходил на «Седове» в Арктику, на Землю Франца-Иосифа. Консилиум медиков предписывал длительный отдых и полнейший покой — возглавлял трудный поход на «Сибирякове» по Северному морскому пути. Наконец светила медицинской науки категорически запретил неистовому ученому и неутомимому исследователю какое бы то ни было переутомление, а он возглавил экспедицию на «Челюскине», где все время был даже для нас, молодых, образцом выносливости, мужества и большевистской стойкости.

Результат этого сверхчеловеческого перенапряжения оказался трагическим: неожиданная простуда, а вслед за нею острейшая вспышка двухсторонней пневмонии...

Мы сидели в своей палатке и угрюмо молчали, одинаково тяжело переживая случившееся. Тихо было и в других палатках, во всем лагере: ни обычного смеха, ни песен, ни разговоров. Больного перенесли в штабную палатку: там теплее. С каждым часом ему становилось хуже. К ночи Отто Юльевич впал в забытие, и безотлучно дежуривший возле него

врач Никитин вызвал Ушакова и Боброва наружу, отвел подальше от пропускающих каждый звук брезентовых стен.

Я охранял в это время лагерь и слышал их встревоженный разговор.

— Надо немедленно вывезти профессора на материк, — сказал доктор. — Завтра же отправить, с первым самолетом! И не просто на материк, а туда, где есть врачи и необходимые госпитальные условия. С пневмонией не шутят, товарищи, и я думаю...

— Одну минутку, — остановил его Георгий Алексеевич. — Говоря о врачах, о госпитализации, вы имеете в виду Ном?

— Помилуйте, батенька, что же еще можно предложить? — развел Никитин руками. — На тысячу километров вокруг — ледяная пустыня, безлюдье. Разве в бухту Лаврентия, на тамошнюю культбазу? Но найдутся ли у них необходимые медикаменты?

— Значит, Ном, — произнес Ушаков. — Пожалуй, вы правы. Согласовать этот вопрос с правительством, вывезти Отто Юльевича в Ванкарем, и...

— Вывезти? — перебил молчавший до сих пор Бобров. — Без его согласия? вспомните, что он говорил нам всего лишь вчера: «Я улечу из лагеря в числе самых последних». Не согласится профессор, ни за что не улетит!

— А если сообщить в Москву, товарищу Куйбышеву? — предложил Георгий Алексеевич. — Просить разрешения отправить больного на самолете в Ном или в Фэрбенкс?

Алексей Николаевич вздохнул:

— Без ведома начальника экспедиции радисты не имеют права передавать в эфир ни одного слова.

— Но возможно же скрыть, утаить от него эту радиogramму!

— Нет. — Бобров покачал головой. — Скрыть, обмануть — не одно ли и то же? А обмана Отто Юльевич ни за что не простит. Ни мне, ни Эрнесту, ни вам...

Я не мог больше слушать их разговор и незаметно, неслышно ушел подальше, к границе лагеря, куда не доносились их голоса. На душе было смутно, тоскливо: неужели они не могут ничего сделать?

Вспоминалась вся экспедиция, день за днем — от выхода из Ленинграда и до этой злосчастной, полной тревожной

неизвестности ночи. Очень ясно вспомнился и самый первый мой разговор с Отто Юльевичем после того, как «Челюскин» вышел из Мурманска в открытое море.

— Ну, товарищ земляк, — спросил он тогда, — вам нравится Арктика?

— Очень! — признался я.

— А чем?

— Необыкновенно здесь... Необычно... И, пожалуй, поэтому так хорошо...

— Человеку всегда хорошо там, где он нужнее, где он чувствует себя на своем месте.

Шмидт, конечно же, знает, как он необходим нам всем. Но во имя этой необходимости я и отправил бы его завтра же на материк, в больницу.

Тихо было в уснувшем лагере, когда после полуночи Володя Лепихин сменил меня на дежурстве. Тихо было и в нашей палатке, где лежал без сна и курил Миша Филиппов, а все остальные ребята с вечера вместе со Слепневым ушли на аэродром охранять его оранжевокрылый «Флейстер». Разговаривать нам с Михаилом не хотелось, да и о чем вести разговор, когда у обоих на душе так тяжело и серо. Мы забрались в спальные мешки, улеглись, но долго еще ворочались с боку на бок. Будь Отто Юльевич здоров, и завтра — праздник: вот когда, наконец, по-настоящему начинается эвакуация с успевшей надоесть льдины! Каманин, Молоков... Скоро и остальные подтянутся к Ванкарему и Уэллену... Сколько еще дней осталось нам здесь жить? Неделю? А может, и того меньше?

Нет, не получится праздника: очень тяжело болен Шмидт. И не все ли равно, кто и когда вывезет меня на материк...

Кажется, Миша уснул первым, задремал и я, и вдруг под нами, под деревянным настилом пола гулко треснул и дернулся лед.

Сон пропал: начинается?! Выскочив из мешка, я принялся поспешно натягивать ватные брюки, но, потеряв равновесие от второго толчка, рухнул на Филиппова.

— Ты что? — всполошился он. — Очумел?

— Лед трещит!

Мы выбежали из палатки в самый разгар тревоги, поднятой ночным дежурным: началось, как всегда неожиданное, торошение льда, и опять рядом с баракom, в том месте, где

лежали оба моторных вельбота и хранились бочки с горючим. Образовавшийся уже небольшой вал продолжал быстро расти под напором скрежещущих льдин, наползающих одна на другую.

Сила сжатия увеличивалась с каждым мгновением. Не погибни «Челюскин» без малого два месяца назад, он был бы раздавлен в эту звездную апрельскую ночь.

Как и в тот февральский день, катастрофе не удалось затать нас врасплох. Часть ребят бросилась к палаткам, под которыми прошли трещины, начали быстро вытаскивать вещи, остальные побежали к складам спасать продукты.

А ледяной вал в эпицентре торошения поднимался выше и выше. Грозный, шевелящийся, он неотвратимо надвигался на палаточный городок, словно решил погубить его, оставить нас без жилья. Скоро шлюпки, вельботы, бочки с горючим и жилой барак оказались по ту сторону, шевелящейся ледяной горы, и оттуда до нас только время от времени доносился голос капитана Воронина, командовавшего ребятами, пытавшимися что-нибудь спасти. А мы ничем не могли помочь им. Нам самим приходилось шаг за шагом пятиться, отступать.

— Эгей! — опять послышался из-за вала голос капитана. — Давайте несколько человек сюда!

— Надо перебираться, — крикнул Загорский, — нас много, а им одним не справиться!

— Попробуй сунься! — отозвался Ткач. — Без ног хочешь остаться? Ни черта же не видно...

И вдруг самое основание вала вспыхнуло голубым огнем: загорелся большой ящик с фосфорными спичками, каким-то чудом оказавшийся на пути движущегося гребня. На несколько минут стало так светло, что нам удалось разглядеть и гребень вала и все вокруг.

— А ну, за мной! — бросился вперед боцман Загорский. — Не отставай, хлопцы, быстро, быстро!..

Отчаянные с ребра на ребро огромных глыб прыжки по просвечивающему голубым огнем ледяному хаосу — и мы уже на другой стороне вала...

Владимир Иванович увидел нас, подбежал:

— Скорее к вельботам! Барак не спасти...

Буквально в последнюю минуту мы успели выхватить, оттащить в сторону один из тяжелых, громоздких вельботов, но второй отстоять не удалось. Его, как пушинку, переверну-

ло на ребро, поставило торчком, прижало к стене барака и в следующее мгновение вместе с ним расплющило, превратило в щепы, в труху. А вал будто только этого и хотел: вдруг замер, остановился, затих, и сразу стали слышны и голоса, и прерывистое, учащенное дыхание людей.

Но капитан не поверил этой обманчивой, чреватой новым взрывом тишине.

— Вся льдина в трещинах, — повел он рукой вокруг, — надо перетащить вельбот и бочки с горючим подальше.

Мы не знали, сколько времени уже работаем, давно ли началось торошение и начнется ли опять. Только чуть мутноватый, дымчатый рассвет, едва заметно разлившийся над ледяными полями, напомнил о том, что близится утро. Наступившая передышка как бы исчерпала последние силы: где кто стоял, там и опустился на истоптанный, грязный снег.

Я с невольным опасением смотрел на гребень десятиметровой высоты вала: это надо — такая силища! Не остановись он, не замри, все сокрушил бы, смел, подмял под себя и перемолол, как перемолол уже и вельбот, и барак, и большую половину бочек с горючим.

— Может, попробуем? — не приказал, а попросил Владимир Иванович. — Начнется опять — ничего больше не спасти: дальше отступать некуда.

Боцман Загорский с трудом поднялся на ноги, подошел к основанию вала, постоял, подумал. И, подхватив валяющуюся под ногами пешню, с силой вонзил острый конец ее в ледяную глыбу.

— Надо проход на ту сторону прорубить, там льдина крепче.

Много ли сделаешь одной пешней? Остальные пешни ребята унесли с собой на аэродром. Боцман рубил и колол, все дальше вгрызаясь в толщу вала, а мы торопливо отбрасывали куски льда в стороны. И когда забрезжило, наконец, серенькое, мгlistое утро, широкий проход был готов.

— Навались на вельбот! — скомандовал капитан. — Дружнее, ребята: опять начинает «дышать»!

А под ногами действительно зашевелилось, затрещало. Начали осыпаться отвесные стены прохода...

Но вельбот, подхваченный десятками рук, уже проскользнул по другую сторону вала, покатился дальше, за пределы палаточного городка. За вельботом поползли обе шлюпки,

за ними покатались бочки с горючим. Последним ребятам, еще остававшимся на той стороне, пришлось перебираться к нам, прыгая по вздыбленным льдинам.

Вал подступил вплотную к крайним брезентовым домикам палаточного городка. Еще десяток метров, и... Но катастрофы не произошло. Все прекратилось, замерло: ни шороха, ни скрипа. Будто израсходовав последние силы, сжатие угомонилось до новой атаки.

Стало совсем светло, и даже оторопь взяла при виде того, во что превратился лагерь за минувшую ночь. Груды вещей вокруг... Нет ни барака, ни вельбота... Разломан, превращен в груды бревен и досок камбуз... И по всей льдине змеятся, разбегаются в разные стороны свежие трещины...

— Будь ты неладна, такая напасть! — плюнул в сердцах дядя Саша Зверев. — Кончилось мое камбузное счастье, придется опять на треноге готовить!

Как и в первый день после гибели «Челюскина», соорудили из кольев треногу, подвесили к ней котел, а под котлом развели костер. И снова по всему лагерю поплыл аппетитный запах разогреваемых мясных консервов, приманивая даже самых уставших. Пришли и Задоров с Нестеровым, ночевавшие на аэродроме.

— Дядя Саша, дай горяченького! Насквозь все внутри промерзло...

Им тоже не легко далась эта ночь: волна небывало сильного сжатия докатилась и до аэродрома. Ребятам пришлось чуть ли не до рассвета перетаскивать с места на место тяжелый, беспомощный «Флейстер», спасая его от разрушения. Ваня-Нерпочка рассмеялся:

— Ох, и крыл же Слип! (Так мы успели сократить фамилию Маврикия Слепнева.) Клянется, что за всю жизнь не попадал в подобные передряги! Спрашивает: «Часто у вас такое бывает?» А мы ему заливаем: «Да почти каждую ночь!»

Он как-то странно, будто с сочувствием, с сожалением поглядывал на наши осунувшиеся, посеревшие от усталости лица. Словно хотел и не решался что-то сказать. А практичный, не любящий дипломатических подходов Володя-Академик сказал напрямик:

— Быстрее завтракайте, и пошли: надо перетащить слепневскую машину на запасную площадку.

Надо? Конечно, надо, пока не поздно: торошению не прикажешь, оно может возобновиться в любую минуту. Попрет льды, как ночью, — и ни машины слепневской, ни посадочных площадок, ни палаток...

— А здесь как же? — неуверенно спросил Загорский.

— Владимир Иванович оставляет пятнадцать человек. И сам остается. И Бобров. — Задоров с трудом моргал набрякшими веками. — Справятся в случае чего.

И с опаской мотнул головой в сторону штабной палатки, где находился Шмидт:

— Как он?

— Худо...

Начиналась пурга. Ветер со снегом сек обмороженные лица. Негнувшиеся руки с трудом удерживали тяжелые ломы и скользкие пешни. И все же за два часа мы проложили по целине дорогу от изломанного аэродрома до запасной посадочной площадки, в одном месте даже ледяной мост построили через полутораметровой ширины трещину. И ничего, выдержали: перетащили «Флейстер», перенесли и аэродромную палатку Саши Погосова. Надо!..

В лагерь брели совсем без сил. Хотелось поспать, хотелось вытянуться в теплой палатке во весь рост, раскинуть онемевшие руки и ноги. Но на полдороге к дому нас встретил Геша Баранов:

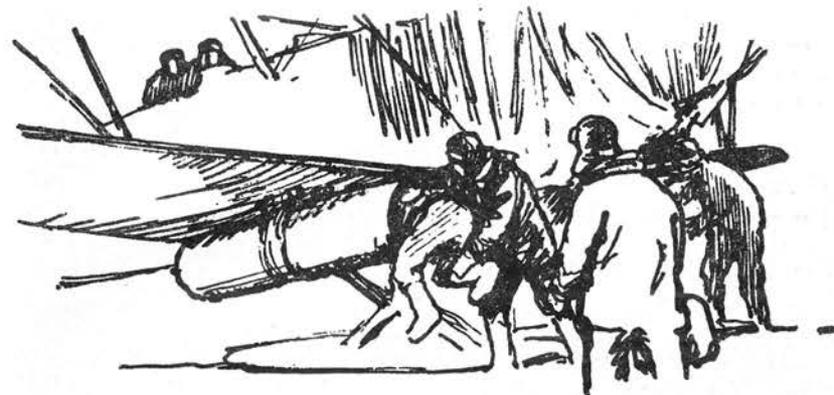
— Плететесь как неживые! А в лагере черт те что делается! Бегом, душа из вас вон!

Мы не обиделись: видать, ругает не зря. А прибежали к лагерь — и ничего не узнать: широкая трещина проползла под одним из продуктовых складов, вновь оживший ледяной вал подмял под себя край палатки штурманов, свалило на лед антенну радиостанции. Разгром!

Весь остаток дня оттаскивали продукты подальше от трещины, спасали штурманскую палатку и навигационные инструменты, устанавливали и укрепляли антенну.

Быстро темнело. Крепчал мороз. Очистившееся от туч небо вызвездило. Но нам было не до всей этой первозданной красоты. Ползком забрались мы в не топленные весь день палатки, да так и легли в валенках, в промокшей от пота одежде прямо поверх смерзшихся спальных мешков.

Я не слышал, как вызвали секретаря партийной ячейки Задорова на совещание к Боброву и Ушакову. Очнулся, ког-



да он ночью вернулся домой и, не открывая глаз, прислушался к тому, что Володя говорил Толе Колесниченко:

— Никитин считает, что ухудшения нет, хотя и держится высокая температура.

— А сам-то он как? Ты его видел?

— Видел. Не знаешь Шмидта? Старается даже шутить...

— И что вы решили?

— Георгий Алексеевич с первым самолетом улетает на берег. Отсюда радиограмму все равно не послать.

Не знаю, не помню, как прошла эта ночь: уснул. Зато следующее утро порадовало нас настоящей весенней погодой: в чистом, без единого облачка, нежно-голубом небе ярко светило апрельское солнце, ветер словно забыл о своих свирепых забавах. Как хорошо, что после вчерашнего у нас осталась еще одна целая посадочная площадка!

В девять утра из Ванкарема радиовали, что вылетают Молоков и Каманин и просят подготовить к отправке семь человек. Назначенные к отлету уложили на сани свои пожитки. В лагере поднялся к небу густой и черный столб сигнального дыма. Вскоре на вышке взвились два флага, оповещающие, что самолеты уже в воздухе, и теперь уже не двуногие «лошадки», а упряжные собаки рванули с места загруженные сани. Мы пошли провожать улетающих товарищей.

Ровно через пятьдесят пять минут после вылета из Ванкарема машины были над лагерем и, как и в прошлый раз, точенько «приледились» на нашем аэродроме. Каманин

и Молоков прилетели без штурманов. И все же мы спросили, зачем они велели приготовить к отлету семерых, если, усаживая в штурманские кабины по три человека, смогут взять только шестерых. Молоков похлопал рукой по одной из двух узких и длинных бочек, привязанных веревками под нижним крылом его машины, и объяснил:

— Видали? Парашютные ящики... По одному пассажиру в каждый... Да еще в кабину... Тесновато, конечно, но ведь меньше часа полета. Зато шесть человек за один рейс. Разве плохо?

— А мотор? — не очень уверенно спросил Погосов. — Сможет поднять?

— Свободно, — заверил летчик. — Моторы сильные.

— И я беру пять человек, — вставил Каманин.

Шесть да пять — одиннадцать за рейс. Здорово!

Собравшийся лететь пожилой механик Пионтковский, не отличавшийся особым стремлением к риску, с сомнением покачал головой:

— Оно, конечно, ничего... Оно даже к лучшему: быстрее всех вывезете. Ну, а если... того?

— Что «того»?

— Если, скажем, вынужденная посадка... Садиться на эти самые... как их... того?

— Не будет «того»! — поняв, что беспокоит предусмотрительного пассажира, рассмеялся Каманин. — На нашей воздушной линии «того» категорически исключается!

Но Пионтковский все же отошел в сторону. Молоков постарался успокоить и его и всех нас:

— Мы хотим проверить, как люди будут чувствовать себя в ящиках, удобно ли в них лететь. Если все обойдется, в следующий раз возьмем, как говорили. А сейчас прошу четверых ко мне, троих к Каманину. — Он взглянул на Пионтковского: — Почему бы вам лично не опробовать «персональную» кабину?

Пионтковский попятился, замахал руками:

— Что вы, что вы! В моем возрасте, знаете ли... Если бы еще...

Но что «еще», договорить не успел: перемигнувшись, мы подхватили шупленького механика и, словно мину Уайтхеда, головой вперед засунули в узкий лаз парашютной бочки:

— Готово! Кто во вторую?

Моторист Саша Иванов сам подошел к «персональной» кабине:

— Грузите и меня в консервную банку.

А в штурманский отсек поднялся старший механик «Челюскина» Николай Карлович Матусевич.

— На первый раз мне довольно, — сказал Каманин.

— А ко мне прошу четверых, — повторил Молоков. — Грузитесь, товарищи. Полетим.

И столько спокойствия, столько уверенности было в этом коротком «полетим», что плотник Николаев и матрос Сергеев одновременно шагнули к парашютным бочкам, а Ушаков и строитель Баранов полезли в штурманскую кабину.

Взмах руки Сандро Погосова, и самолеты оторвались, улетели.

— За работу, друзья, быстрее! — заторопил машинистов Слепнев, которому тоже не терпелось покинуть не слишком гостеприимную для него льдину. Бортмеханик Уильям Левари отлично выполнил распоряжение своего русского «шефа»: Каманин и Молоков привезли снятые с машины Леваневского детали, необходимые для ремонта слепневского «Флейстера». Занявшись установкой их, мы позабыли о времени и не сразу поняли, откуда взялся еще один самолет, неожиданно загудевший над аэродромом. А оказалось, что это Молоков успел не только благополучно доставить своих пассажиров в Ванкарем, но и еще раз прилететь в лагерь.

Мы бросились к нему, обступили:

— Ну как? Жив наш Пионтковский?

Дядя Вася рассмеялся.

— Жив, жив... Выбрался из бочки и говорит: «А знаете, пожалуй, моя персональная кабина оказалась самым спокойным местом на самолете...»

— Почему же Каманин не прилетел?

— Мотор закапризничал: отрегулирует и придет. — Молоков хитро прищурился: — Знаете что? Грузите двоих в парашютники и троих в штурманскую кабину. Мы с Николаем решили переходить на полную загрузку!

Как буднично, как все просто: брать пятерых вместо полагающихся по всем летным законам и правилам троих... А давно ли мы мечтали, чтобы на нашей неказистой и кучей площадке «приледнился» хотя бы один-единственный самолет?..

Молоков улетел. Начал готовиться к отлету и Слепнев. Весь основной ремонт его машины ребята успели закончить раньше: выправили и поставили на место станину шасси, намертво прикрепили ее к фюзеляжу, поставили стяжку между станинами. Оставалось заменить поврежденные при неудачной посадке детали хвостового оперения доставленными из Ванкарема, а это не отняло много времени. Наконец отремонтированный «Флейстер» занял место на старте. В высоко поднятую кабину его один за другим взобрались по лесенке шесть пассажиров. Мы прощались с ними и со Слепневым, без особого доверия поглядывая на лощеного красавца — «американца»: черт его знает, как он взлетит у нас и как приземлится в Ванкареме...

— Я, брат, только с Молоковым полечу, — доверительно шепнул мне самый старший среди челюскинцев, корабельный плотник Адам Доминикович Шуша. — В этой цапле того и гляди на тот свет сыграешь.

Но все обошлось: и взлетели благополучно и сели на берегу вполне нормально. Близился вечер, мы собирались идти домой, но на горизонте опять появилась черная точка. Неужели кто-то летит? Летит!

И на нашем аэродроме, третий раз за один только этот счастливый день опустился Р-5 Василия Молокова.

Дядя Вася в ответ на наши восторженные восклицания лишь застенчиво и смущенно пожал плечами:

— Ну что особенного? Нормально...

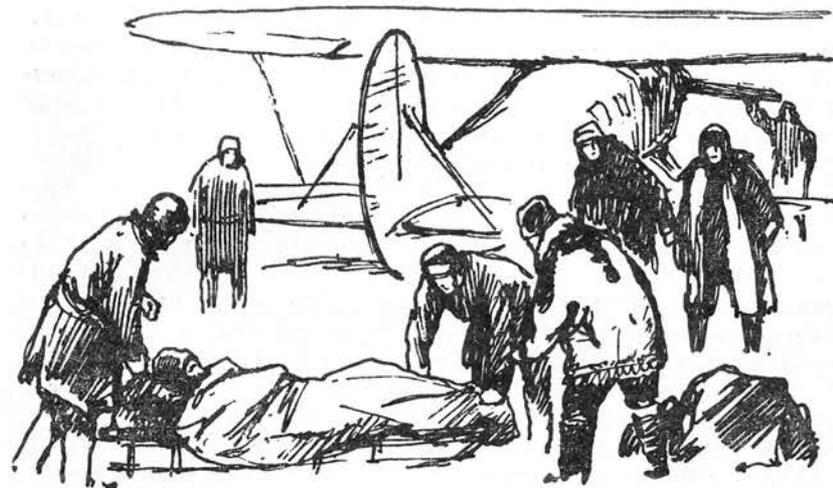
Через полчаса он улетел. На льду осталось шестьдесят девять человек. Надо бы радоваться, а радости не было: почему молчит Ушаков? И почему из Москвы, от Валериана Владимировича Куйбышева, нет ни слова? Ведь Отто Юльевичу очень и очень плохо...

Этим тревогам пришел конец на следующее утро, когда Кренкель, выскочив из радиопалатки, бросился к Боброву:

— Алексей Николаевич! Срочная, из Москвы!

Сероватый бланк радиogramмы задрожал в руке помполита:

«11 апреля. 4.45 московского. Аварийная. Правительственная. Ванкарем — Ушакову, копия — Шмидту. Правительственная комиссия предлагает в срок по Вашему усмотрению вне очереди переправить Шмидта на Аляску. Ежедневно специальной радиogramмой доносите о состоянии здоровья



Шмидта. Сообщите Ваши предложения о его отправке. Куйбышев».

И еще через несколько минут — вторая, адресованная Шмидту и Боброву:

«Ввиду вашей болезни Правительственная комиссия предлагает Вам сдать экспедицию заместителю Боброву, а Боброву принять экспедицию. Вам следует по указанию Ушакова вылететь на Аляску. Все приветствуют Вас. Уверены в возвращении. Куйбышев».

— Все в порядке, — облегченно вздохнул Кренкель, — теперь улетит.

— Пожалуй, — с некоторым сомнением согласился Бобров. — Вот только как сообщить ему об этих депешах?

— А что?

— Как что? Обидится... Подумает, будто мы хотим избавиться от него...

— Ну что вы, Алексей Николаевич! Я давно работаю с профессором и не встречал человека, умеющего более трезво смотреть в глаза необходимости.

— Правильно, правильно, — согласился помполит. — А вам не кажется, что Отто Юльевич возмутится: на каком основании мы без его ведома связались с Москвой?

— Нет, — голос Кренкеля зазвучал почти сухо. — Шмидт — человек!

И Шмидт не обиделся, не возмутился. Кому, как не ледовому комиссару, знать, что тяжело больной всегда поневоле сковывает весь экспедиционный коллектив...

Шмидт согласился:

— Лечу...

В тот же день в сопровождении доктора Никитина Отто Юльевич на самолете Молокова покинул наполовину опустевший брезентовый поселок полярных робинзонов. Он не согласился считать этот рейс специальным, не позволил нарушать список очередности эвакуации своих товарищей.

— Зачем? — сквозь приступ удушья запротестовал ледовый комиссар. — Рейс обычный... Очередной... С нами летит тот или те, чья сегодня очередь...

И полетел еще один пассажир — плотник-строитель Юганов. Только в парашютные ящики Молоков решил на этот раз не брать никого. Но об этом Шмидту ничего не сказали.

В Ванкареме совсем ослабевшего профессора на руках перенесли в кабину слепневского «Флейстера», и вместе с Георгием Алексеевичем Ушаковым он отправился на Аляску. Челюскинцы расстались с Отто Юльевичем, чтобы снова встретиться с ним только будущим летом.

А эвакуация ледового лагеря Шмидта все еще продолжалась.

По-разному покидали льдину полярные робинзоны. Одни уходили на аэродром радостные, чуть не приплясывая от нетерпения, а сами нет-нет да и оглядывались на лагерь:

— Черт побери, неужели конец?..

Другие поглядывали на товарищей:

— Как же вы будете тут без меня? А вдруг сжатие?

Третьи под разными предлогами и вовсе без предлогов пытались отсрочить свой отлет:

— Может, другой кто полетит? Мне не к спеху, могу подождать...

И не было ни одного, кто расставался бы с лагерем и с товарищами равнодушно: слишком многое совместно пережитое за два месяца ледовой одиссеи сдружило и породнило нас всех на всю жизнь.

А такое не забывается.

Никогда...

...Подошло и мое время расставаться со всем, чем мы жили теперь, в дни арктического предвесенья: я улетел 11 апреля, пятьдесят шестым по списку. Улетал и навсегда расставался с бешеными пургами и злыми морозами; с дрейфующими ледяными полями, поднимавшими нас среди ночи то чудовищными сжатиями, то внезапными трещинами и разводами; с нашим маленьким, но не сдающимся и до конца не сдавшимся коллективом, где каждый, а многие впервые в жизни тяжелой мерой промерили и испытали свое право называться советскими людьми; и с брезентовыми палатками, дарившими нам тепло и уют в очень редкие, зачастую урывками, минуты спокойствия и отдыха; и с товарищами побратимами-челюскинцами, с кем навечно сроднил и поход на корабле через пять арктических морей и двухмесячный дрейф ледового лагеря Шмидта.

Грустным было это расставание. И трудным...

Обошел в одиночестве весь лагерь. Постоял, обнажив голову, на месте засыпанной снегом полыньи, поглотившей «Челюскина» и Борю Могилевича... Заглянул в палатки улетевших ребят... И в последний раз посидел на спальном мешке за спущенным подвесным столиком в своей, еще полной тепла и жизни от топившегося весь день чугунного камелька, палатке.

А потом, подхватив узелок с вещами, зашагал к аэродрому по накатанной полозьями нарт, усеянной ромашками собачьих следов дороге, по которой мне больше не суждено ходить никогда.

Вот и лагерь скрылся вдаль. И сигнальная вышка чуть выглядывает из-за торосов. Впереди — аэродром, а на нем улетающие со мной ребята и совсем уже немногие пока остающиеся, кому сегодня суждено провожать нас. Николай Каманин берет в рейс по пять человек, Василий Молоков на такой же машине вывозит по шесть. Мне лететь с дядей Васей, и с нами отправляются инженеры Ремов и Расс, аэролог Шпаковский, биолог Белопольский и славный архангельский парень — кочегар-комсомолец Валька Паршинский. Белопольский — малорослый и щуплый, в самый раз записать его в парашютную бочку. А во вторую кого? Э, не все ли равно, разместится. В тесноте — не в обиде...

Самолеты пришли, как по расписанию, и с испытанной уже точностью «прилеглись» неподалеку от аэродромной

палатки. Молоков помахал рукой из кабины, и мы гурьбой двинулись к нему.

— Длинный Джек, в бочку! — хлопнул меня по спине тезка Погосов. — При твоей комплектации в «персональной» кабине самое место!

Так и знал, запихнут... Ничего не поделаешь — надо. Только ноги мои длиннющие как же влезут? Не останется для них места.

Все же отдал свой узелок Вале Паршинскому, подошел к круглому зеву фанерной штуковины, веревками прикрученной под нижним крылом, и покорно засунул в нее голову и плечи. Человек в полторы лошадиных силы — Гриша Дураков — подогнул мои ноги, поднажал так, что хрустнуло в поясище, кольнуло в шею — и ничего. Мягко хлопнула крышка ящика, завизжали винты-барашки, и сразу стало очень тесно, тепло и темно. Только сквозь крошечное, не больше спичечного коробка, отверстие, для притока воздуха вырезанное в боковой стенке «персональной» кабины, виднелся клочок покрытого снегом льда и мелькающие мимо ноги провожающих нас ребят.

— Как ты там? — голосом Сандро Погосова спросили губы, прижавшиеся к отверстию.

— Нормально...

— Ну, до встречи на берегу. Счастливо!

А потом заревел, во всю мощь заработал мотор, закачалась, запрыгала бочка, и сразу пропали и ноги, и снег, и лед. Лишь на миг промелькнула в глазке прорези аэродромная палатка.

Прощай, льдина-холодина, и... спасибо тебе за все!

Очень неудобно было лежать на боку. Затекала поджатая и придавленная левая нога. Занемела, застыла от холода правая рука без рукавицы: свои самодельные из собачьего меха я в последнюю минуту отдал Сандро, они ему еще пригодятся. Кое-как засунув руку в боковой карман кожаной тужурки, я нащупал папиросы и спички и, обрадованный находкой, закурил.

В бочку глухо, точно издали, доносилось равномерное пение мотора. И таким уверенным, таким буднично-спокойным показалось оно, что и мне захотелось петь. И я запел не знаю что — просто так, без слов, во весь голос, о том, что

здорово быть молодым и здорово возвращаться домой, к своей земле, к жизни, которая впереди.

Ничего, что мотор вдруг приглож, притих... Ничего, что меня прижало к верхней части бочки, как бывает, наверное, при неожиданном, быстром падении...

Мы не падаем, нет. Мы просто идем на посадку!

Самолет, подвывая мотором, запрыгал по бугристому снегу и остановился. Почти тотчас поспешно закрипели барашки на нижней крышке моей «персональной» кабины. Крышка откинулась, и вместе с облаком папиросного дыма я выскользнул прямо в объятия встревоженного дяди Васи.

— Ты чего? — спросил он.

— Ничего. А что?

— Да орал-то чего всю дорогу?!

Может, стоило бы обидеться на такую более чем невысокую оценку моей вдохновенной импровизации, но я не обиделся и объяснять ничего не стал. Вместо этого с горячей признательностью я обнял летчика:

— Спасибо... Спасибо за все!

Отошел на несколько шагов от машины, раз и другой копнул снег поглубже, поднял полную пригоршню мелких, круглых камешков прибрежной гальки.

— Без обмана, а? Точно доставил. Здравствуй, земля!

Огляделся вокруг, увидел вдали конусообразные, похожие на копны сена чукотские яранги Ванкаремского стойбища, увидел нашу нахохлившуюся, полусасыпанную снегом «шаврушку» и готовые к новому вылету «эр-пятые» Молокова и Каманина.

— Не тяните, братцы! Там ребята ждут. Вывозите скорее всех!

А они и не думали «тянуть». В этот день Николай Каманин совершил три полета в ледовый лагерь, Василий Молоков — четыре, в том числе один раз за Отто Юльевичем. Ближе к вечеру в Ванкареме приземлились наконец-то добравшиеся сюда Иван Доронин и Виктор Галышев, а Михаил Водопьянов, «промахнувшись» мимо Ванкарема, совершил посадку на мысе Северном.

Да, добрались и они.

Три недели назад, 17 марта, стартовали втроем из Хабаровска, а через час попали в такой снегопад и густой туман, что до Нижне-Тамбовска долетели только Доронин и Галы-

шев; Водопьянову пришлось вернуться назад. Так и дальше шли: первых два в Николаевске-на-Амуре, третий в Нижне-Тамбовске, Доронин и Галышев садятся в бухте Аян, Водопьянов — на острове Большой Шантар. Но, конечно, чаще отсиживаться приходилось, пережидать пурговые дни и ночи, чем лететь, пробираясь по воздушному бездорожью. И только 20 марта смогли они, наконец, соединиться в Охотске, чтобы дальше продолжать путь вместе.

Через два дня стартовали на Нагаево, куда пришлось пробиваться через хвост тайфуна, пронесшегося в тот день над Хакодате. Ничего, пробились, благополучно сели на покрытом льдом Нагаевском аэродроме. И вот тут-то, если бы не подоспевшие на помощь пограничники, ураганный ветер непременно разбил бы машины о недалекие скалы.

Дальше — Гижига, перелет через горный хребет полуострова Тайгонос, вынужденный полет разными курсами до культбазы Каменская, где при посадке на ни к черту не годный аэродром у машины Доронина ударом о бугор снесло шасси.

— Ничего не поделаешь, ты пострадал за всех, — утешали летчики своего товарища. — Все равно кому-нибудь из троих подломаться пришлось бы.

Но Доронин по-хозяйски предусмотрительно захватил из Хабаровска запасное шасси. Время было — опять навалилась пятидневная пурга, — и за эти дни отремонтировали машину. После этого перемахнули в Анадырь, где опять просидели из-за пурги шесть суток. И только 11 апреля, снова разными курсами, добрались до желанной цели — до северного побережья Чукотки, где Доронин с Галышевым приземлились в Ванкареме, а Водопьянов — рядом с полярной станцией на мысе Северном. На другое утро он присоединился к своим друзьям.

В этот день, 12 апреля, — в день решающего штурма лагеря Шмидта — Василий Молоков не летал: пришлось ремонтировать мотор самолета. Не довелось побывать на льдине и Виктору Галышеву, на машине которого, к великому горю летчика, бензиновая помпа отказала держать давление. Зато Николай Каманин совершил три рейса, Михаил Водопьянов — два и Иван Доронин — один, в общей сложности доставив на материк двадцать два человека. Только рано наступившие сумерки не позволили им полностью завершить



эвакуацию, и на льду на долгую последнюю ночь остались последние наши товарищи...

Я не знаю, для кого тревожнее и труднее была эта ночь: для нас, уже находившихся на твердой земле, или для наших товарищей в опустевшем лагере. Знаю только, что мы до утра почти не смыкали глаз. То один, то другой выходил из душевой чукотской яранги и стоял на ветру, на морозе, до боли в ушах вслушиваясь в тишину, до рези в глазах всматриваясь в небо. Начнись пурга, поднимись, как нередко бывает в апреле, ураганный ветер, и шестерке последних никто не сможет помочь... Изломает, исторосит единственный оставшийся у них аэродром — что тогда? Самолетам не сесть, а им, шестерым, не расчистить, не разровнять даже самую маленькую посадочную площадку...

— Эх, скорей бы ты кончилась, ночь! — тяжело вздохнул рядом со мной растянувшийся на оленьей шкуре Паршинский.

Миша Ткач приподнялся на локте, негромко, совсем не по-Мишкиному спросил:

— Ну, а если не смогут завтра лететь, если пурга? И не день и не два — неделю. Тогда как?

Показалось, что пауза длится вечность, пока, наконец, не нарушил ее и сердитый и нетерпеливый голос Решетникова:

— Что «тогда»? Или сам не знаешь? Соберемся, достанем собачьи упряжки и пойдем к ним.

Пурга приближалась. К утру облака затянули весь небо-

свод, ветер стал порывистым, резким, начал падать барометр. И все же самолеты Молокова, Каманина и Водопьянова покинули Ванкаремский аэродром.

Мы топтались в тревоге возле крошечной радиорубки, неотрывно глядели в сторону моря: не придется ли им вернуться, не долетев? Мы ждали.

И с какою же радостью дождались!

«Полярное море, лагерь Шмидта. 13 апреля, 1 час 05 минут. 12 апреля в основном была закончена переброска челюскинцев и ценных грузов на материк. Сейчас получено радио с мыса Ванкарем о вылете трех самолетов. Зажигаем последний дымовой сигнал, прекращаем радиосвязь. Через полчаса последними покидаем лагерь Шмидта, оставляя поднятый на вышке советский флаг. Исполняющий обязанности начальника экспедиции Алексей Бобров».

Голос нашего передатчика, голос «Челюскина» — «Р-А-Е-М», за которым день в день ровно два месяца следила вся наша страна, весь земной шар, отныне умолк: ледового лагеря Шмидта больше не существует!

Час спустя далеко на горизонте, над морем, показались три крошечные черные точки. Они быстро росли, приближаясь, и вот уже на нас, на аэродром обрушился рев авиационных моторов. Из каманинской машины выпрыгнул боцман Толя Загорский. Из водопьяновской вышли радисты Эрнест Кренкель и Сима Иванов. Из молоковской — Владимир Иванович Воронин и Саша Погосов.

— Здравствуй, славная наша Большая земля!

Оставалось дописать последнюю страницу ледовой одиссеи: совершить гигантский путь в Москву.

## В объятиях Родины

В рапорте Правительственной комиссии по спасению челюскинцев говорилось:

«Советская авиация победила. Наши люди на наших машинах доказали всему миру высокий уровень авиационной техники и высокое качество пилотажа. Подвергаясь громадным опасностям, рискуя жизнью, они вели самолеты к намеченной цели и этой цели с успехом добились».

Спасение челюскинцев является самым героическим подвигом нашей советской авиации!»

О героях — советских летчиках, о челюскинцах — говорил, писал и кричал по радио весь мир.

Непрерывным потоком шли в Ванкарем и в Уэллен горячие поздравления и сердечные приветствия от советских граждан, от трудящихся капиталистических стран, от известных деятелей мировой науки и культуры.

Теплым словом приветия и восхищения порадовали участников ледовой одиссеи: Бернард Шоу, Ромен Роллан, Герберт Уэллс, Мартин Андерсен Нексе.

Но Р. Ларсен и Х. Свердруп, полярные исследователи с мировой славой, почему-то хранили молчание. Не потому ли, что совсем недавно они утверждали невозможность спасения челюскинцев с помощью самолетов?

А челюскинцев спасли летчики!

Анатолий Ляпидевский вывез двенадцать человек.

Николай Каманин за девять рейсов перебросил на материк тридцать два.

Василий Молоков, тоже за девять рейсов — на семь человек больше: тридцать девять.

Маврикий Слепнев однажды побывал в лагере и взял шестерых.

Михаил Водопьянов слетал трижды, вывез десятерых.

Ивану Доронину пришлось ограничиться одним полетом и только двумя пассажирами...

Да, советские летчики одержали историческую победу! Они вырвали у Арктики всех полярных робинзонов, вывезли накопленные за многомесячную экспедицию научные материалы, спасенные с корабля ценные приборы и инструменты. Даже ездовых собак, которых привез слепневский «Флейстер», не оставили в ледяной пустыне, перебросили на материк.

В Ванкареме еще не знали, с каким нетерпением ждет страна возвращения участников арктической битвы. Полярные радиостанции были так перегружены официальной и служебной связью, что из Ванкарема мы даже своим родным не могли послать ни строчки. А поэтому и считали: эвакуация закончена, летчикам надо возвращаться на свои базы, нам двигаться в Уэллен, куда, очевидно, скоро придет какой-нибудь пароход. Хорошо хоть, что самолеты смогут перебро-

силь к Берингову проливу самых пожилых и нескольких больных наших товарищей. Ну, а мы, здоровые и молодые, по-маленьку да полегоньку дотопаем туда на своих на двоих...

Правда, путь предстоял не близкий: почти пятьсот километров пешим ходом по бездорожью, по безлюдью, по морозы и предвесенние пурги. Ничего не поделаешь, надо... Едва ли это будет труднее, чем перемахивать через ропаки, перепрыгивать через трещины, добираясь от лагеря до аэродрома... Да и вещи свои и продукты придется тащить не на себе, а их повезут на санях — нартах — остроухие и выносливые упряжные собаки.

Доберемся, дойдем!

Шли небольшими группами, по двенадцать-пятнадцать человек. Ночевали в редких чукотских стойбищах, в конусообразных ярангах из оленьих шкур. Хозяева-чукчи гостеприимно делились с нами вареным оленьим мясом — «каро», сырой моржатиной с не очень приятным запахом — «копальхен» и щедро угощали крепким чаем с «кау-кау» — мучными лепешками, изжаренными в тюленьем жире.

Даль несусветная, Чукотка... Только недавно, вытеснив, наконец, американцев, сюда пришла советская власть. Однако старое, прежнее еще живуче. «Священные» шаманские барабаны-бубны... Сами шаманы, «повелевающие» добром и злом... «Камлания» бесноватых «заклинателей духов» возле постели больного... Почти во всех стойбищах мы встречали охотников-зверобоев, вооруженных американскими ружьями — винчестерами... В поселках покрупнее видели приземистые, длинные, полуовальной формы склады из гофрированного железа, оставленные навсегда вышибленными вон «промышленниками» вроде хозяина шхуны «Нанук», известного всему дальневосточному Северу хищника Свенсона...

Но все это — уже пройденное, отжившее. И сюда идет наша, советская новь.

Вот выдержки из дневниковых записей тех далеких апрельских дней:

**«12 апреля.** Стойбище Ванкарем — полтора десятка чукотских яранг, разбросанных далеко друг от друга. Тут есть радиостанция и торговая точка — фактория, которой завел влюбленный в Север выходец с Кавказа Георгий Кривдун. Каких-нибудь пять-шесть лет назад американские торговцы выменивали у местных охотников драгоценные песцо-



вые шкурки, в том числе и редчайшие шкурки голубых песцов, на спирт, на табак, на дешевенькие винчестеры, служившие не больше одного промыслового сезона. Тут тоже, как и по всему здешнему северному побережью, орудовал главным образом Свенсон. Самым «ходовым» товаром у него была «огненная вода» — низкопробное, но покрепче, виски: напиток доверчивых зверобоев до беспамьятства, да и оберет, как липку, — так, что тот еще и должником «благодетеля» остается. А тех, кто умел противостоять соблазну «огненной воды», Свенсон и его торговые агенты «щедро» на зависть другим снабжали винчестерами и боеприпасами к ним. Но, как рассказывает Кривдун, эта «щедрость» была чисто американской: никогда не случалось, чтобы свенсоновская шхуна «Нанук» год за годом доставляла чукчам винчестеры и патроны одного и того же калибра. Что ни год, то разные: то велик патрон, не входит в магазин, то маленький. И охотникам приходилось брать, да к тому же непременно в долг, под будущую добычу, новое оружие: на медведя и моржа с негодными патронами не пойдешь. В кабалу залезали вечную, иной раз до второго, до третьего поколения, и считалось по всей Чукотке вполне обычным, что охотник выплачивает год за годом заморскому «благодетелю» долги и своего отца и даже деда...

— Ох, и зол же Свенсон на нас, — смеется Георгий, — за то, что советская власть турнула его отсюда в три шеи!

**13 апреля.** Ночевали в стойбище Итлетан, в тридцати пяти километрах от Ванкарема. Путь был труден, но не изнурителен, хотя и пришлось топтать всю дорогу пешком. Сказывается закалка, полученная в лагере: налегке мы способны теперь шагать и шагать хоть круглые сутки.

В Итлетане всего пять яранг, а шестая, тоже яранга, — школа, в которой молодой парень-чукча, учитель Лейукэмен, обучает грамоте местных ребятишек. Первый учитель-чукча на всем полуострове! Первый, а скоро их будет больше, ибо, как рассказывает Лейукэмен, в Ленинграде, в Институте народов Севера, скоро заканчивают учебу еще несколько его друзей.

Здесь, в Итлетане, лежит на берегу моря разбитый «Флейстер» Сигизмунда Леваневского. Утром я видел, с каким серьезным видом возьмется кособровые мальчишки в поверженном самолете. Изучают. И уже недалеко то время, когда и летчики-чукчи будут водить воздушные корабли.

**14 апреля.** Сегодня добрались до знаменитого своей доброй славой острова Колючина. Отсюда прошлой осенью ушли наши ребята, Миша Данилкин, Сельвинский, Мироненко, Муханов, добравшиеся до мыса Дежнева. Все они уже давным-давно в Москве. А нам суждено еще долго топтать, и притом пешочком.

Ночевали в палатке экипажа подломавшегося здесь АНТ-4 с летчиком Конкиным и штурманом Петровым из группы Анатолия Ляпидевского. Они уже заканчивают ремонт шасси, но каких трудов это стоило! Женя Конкин говорит:

— Без помощи чукчей ни черта не вышло бы.

Чукчи подняли тяжелый самолет на подпоры, помогали ковать из железа новые детали шасси, пользуясь вместо наковальни торчащей из земли глыбой гранита, научились у летчиков паять и слесарить.

— Их бы маленько подучить, замечательные мастера получились бы, — замечает Петров. — До того сообразительный народ, что иной раз диву даешься!

Машина готова. Ждут погоды, чтобы вылететь в бухту Провидения. Уговаривали и нас остаться — мол, на самолете

быстрее. Но нам больше верится в собственные ноги: испытали, знаем, что значит на Севере «сидеть у моря и ждать погоды». А поэтому завтра двигаемся дальше.

**19 апреля.** Три дня с больной ногой провалялся в Джинретлене, почти не вылезая из яранги. Опухоль, наконец, спала, боли нет. наших ребят из следующей пешей партии не дождался и сегодня один кое-как доковылял в Энурмын, значащийся на географических картах под именем мыс Сердце-Камень. Тот самый мыс, мимо которого «Челюскин» вместе со льдами носило прошлой осенью дрейфом то вперед, то назад чуть ли не целый месяц!

Энурмын — большое стойбище, крупная фактория, база исследовательской экспедиции профессора Обручева, первый на всей Чукотке питомник по выведению улучшенных пород ездовых собак. Парадоксальное смешение прошлого и настоящего этого сурового края: живу у норвежца Бена Бешвенсена Воола, а время провожу с учителем местной школы, русским комсомольцем Федей Зориним.

Коротко о том и другом.

Бен Бешвенсен Воол, уроженец города Мосельвен (Норвегия), в 1892 году, девятнадцатилетним парнем, уехал искать счастья в Америку. Был батраком-сезонником на фермах, железнодорожником, золотоискателем на Аляске. Оттуда с группой таких же, как сам, «люмпен-пролетариев» в 1902 году перебрался искать золото на Чукотку. Здесь с переменным успехом — золото то находили, то нет — проболтался и пробродяжничал по всему полуострову до 1907 года, пока, наконец, какой-то русский начальник, барон Клейст, не турнул незваных «искателей» назад, на ту сторону Берингова пролива. Но Воола барон почему-то оставил: «Золото не трогай, а с инородцами-чукчами торговать можешь». Торговал Воол на паях со Свенсоном до тех пор, пока более хитрый и изворотливый Свенсон не прибрал весь их бизнес к рукам, превратив вчерашнего компаньона в рядового торгового агента. В 1908 году Воол женился на чукчанке Тэнатваль и обосновался в стойбище Энурмын. Так год за годом и работал на «акулу», ставшего и миллионером и знаменитым «монополистом» в грабежах почти всего населения Чукотки. Свенсон грабил чукчей и после Великой Октябрьской революции, грабил почти до начала тридцатых годов. Наконец советская власть категорически запретила его полупиратским шхунам

появляться в наших территориальных водах. С тех пор на Чукотке Свенсона не видали.

А Воол, так и не сумевший разбогатеть, побоялся возвращаться в Америку и решил остаться с семьей: старший сын его, Тэнэро, тут же, в Энурмыне, промышляет охотой; дочь, красавица Соня, вышла замуж за учителя-комсомольца Колю Баума и уехала учиться в Москву; двое младших, мальчуганы-близнецы Буль и Бен, живут с отцом и матерью, но тоже мечтают о Москве и учебе.

Несколько лет назад Бен Бешвенсен Воолу не повезло: взрывая динамитным патроном выброшенного на мелководье кита, он остался без кистей на обеих руках...

— Не скучаете вы о родине? — спросил я у него. — Не хотели бы побывать в Норвегии?

— Нет, — он отрицательно качает уже седой, удивительно похожей на амундсеновскую, головой, — никого у меня там не осталось. И в Штатах никого. А здесь свой угол, своя семья... Я тут нужен людям: помогаю учителю, веду наблюдения за погодой, прошлым летом был переводчиком у профессора Обручева. Мне недолго осталось жить, и я хочу умереть в кругу родных.

Это старое, уже пройденное Чукоткой. «Осколок прошлого», как назвал Воола учитель Зорин. Сам же Федя совсем еще юн, двадцати не исполнилось, и энергии, жизнерадостности, жизнелюбия, быющего из него, хватило бы на добрый десяток однолеток, каким в молодости скорее всего был и сам Бен Воол.

Год работает Зорин в Энурмыне, приехав сюда из Москвы добровольцем, а успел уже создать школу из двух групп, в которой учатся семнадцать ребят. В первой группе ученики по слогам читают написанные русскими буквами (своей письменности у чукчей пока нет) родные слова и считают до двадцати. Во второй — счет ведется до тысячи, а читают и пишут ребята довольно бегло да вдобавок старательно изучают элементарную географию и естествознание, точнее — растительный и животный мир родного края.

— Приходи на урок, послушай, — приглашает Федя. — Сам увидишь, какие они ненасытные к знаниям. И не думай, что это все: на одной школе, пускай и хорошей, из отсталого прошлого в нынешний век, в социализм, не въедешь...

То ли спрашивает он это, то ли утверждает, и я согла-

шаюсь. Слишком велико расстояние от Бена Бешвенсена Воола до таких ребят-комсомольцев, как Федор Зорин, которых с каждым годом становится все больше и здесь, на Чукотке, и на всем необъятном Крайнем Севере нашей Советской страны.

Федя слушает и довольно смеется:

— А мы его сокращаем, это расстояние. Все вместе. Десять взрослых охотников собираются в школу ликбеза каждый вечер в одном только нашем стойбище. Арифметику учат, русский... Пишут некоторые уже знаешь как? Дай бог! А возьми Каманавута, так и вовсе глаза на лоб: тридцать лет человеку стукнуло, раньше — старость по здешним местам, а читает, даю тебе честное комсомольское, может, малость помедленнее, чем я сам!»

...Закрываю дневник: так и дальше было на пути в Уэллен. Во всех прибрежных стойбищах, где мы останавливались на ночевки. Мы давно перестали завидовать тем из наших товарищей, которые перемахнули из Ванкарема в Уэллен на самолетах: ничегошеньки они не увидели и не узнали. А мы видим все, мы душою коснулись суровой души здешних жителей и полюбили их. За отзывчивость. За гостеприимство. За готовность щедро поделиться с нами пшеничной лепешкой «кау-кау» и куском «копальхена». И за то, что они так рады нам, молодым, идущим на Север прокладывать пути-дороги в новую для всех нас жизнь.

Это очень волнующе и прекрасно: видеть, чувствовать, знать, как тебе рады совсем еще незнакомые люди. Эта радость вдвойне прекрасна, если ты испытал ее в жизни так, как нам посчастливилось испытать на Чукотке!

А пришли в Уэллен, и вовсе ахнули: президиум ВЦИК СССР наградил всех участников челюскинской эпопеи орденами Красной Звезды. Семерым летчикам, принимавшим непосредственное участие в нашем спасении, присвоено только что установленное высшее отличие: звание Героя Советского Союза!

...Дальше — путь самолетами в бухту Провидения, где с сердечным гостеприимством всех нас приняли к себе на борт моряки специально присланного парохода «Смоленск». Тут впервые смогли мы, наконец, вплотную разглядеть и поближе познакомиться с нашими спасителями-Героями: ведь на льдине во время коротких стоянок их машин было

не до того. Там мы только Слепнева узнали, да и то разговорам с ним все время мешала вакханалия форменным образом взбесившихся льдов. А теперь — вот они, все семеро, вместе с нами в уютной, просторной и светлой кают-компании «Смоленска». И разговоров хватит до самого Владивостока.

Анатолия Ляпидевского до сих пор видели только раз, когда он 5 марта увез от нас женщин и детей. Он тогда показался нам немолодым, озабоченным, а быть может, и сильно раздосадованным прежними неудачными вылетами человеком, из которого даже Феде Решетникову не сразу удалось бы выжать ответную шутку или улыбку. Оказался же первый Герой двадцатисемилетним, общительным и голубоглазым парнем, комсомольцем уже с десятилетним, с 1924 года, стажем! Он окончил школу летчиков в Ленинграде, потом морских летчиков в Севастополе и до прошлого, до 1933 года служил в военно-морской авиации. Демобилизовавшись, перешел в гражданскую авиацию — на Дальний Восток, на Сахалин и, наконец, на Чукотку...

Сигизмунд Леваневский, второй в списке первых семи Героев, несколькими годами старше Ляпидевского. Сын дворянина, он пятнадцатилетним мальчишкой вступил в ряды Красной гвардии и во время гражданской войны дрался с беляками. Был и командиром батальона, и помощником командира полка Красной Армии, а после гражданской войны пошел учиться в Севастопольскую школу морских летчиков. Младший летчик... Старший летчик в отдельном авиационном отряде... Начальник школы Осоавиахима в Николаеве... Начальник всеукраинской школы Осоавиахима в Полтаве... А когда год назад представилась возможность, Сигизмунд Леваневский впервые в истории авиации совершил гигантский скачок на морском самолете над степями, горами и лесами, над всем сухопутьем Советской страны — из Севастополя в Хабаровск! Там, на Дальнем Востоке, принимал участие в розысках известного американского летчика Маттерна, потерпевшего аварию в районе Анадыря. Оттуда вместе со Слепневым и Ушаковым уехал в Америку, чтобы на одном из купленных в Штатах «Флейстеров» пробиться в ледовый лагерь Шмидта, на спасение челюскинцев. И хотя не долетел до нас, но сумел спасти во время аварии машины и Георгия Алексеевича Ушакова и бортмеханика-американца...

Маврикий Слепнев, третий Герой, был летчиком еще во

время империалистической войны. Сын крестьянина, он сразу после Великой Октябрьской революции перешел на сторону красных и продолжал сражаться с врагами молодой Советской России. Был инструктором высшей школы военной авиации в Москве. Налетал без малого полмиллиона километров над пустынями Средней Азии. Перевозил пассажиров и грузы на одной из первых авиационных линий в Сибири и Заполярье — из Иркутска в Якутск. Прокладывал новые воздушные трассы на Крайнем Севере. Искал и нашел на Чукотке погибшего американского летчика Эйельсона. Так кого же, как не Маврикия Слепнева, и мог отобрать Валериан Владимирович Куйбышев в числе равных ему для спасения дрейфовавшего в чукотских льдах экипажа «Челюскина»...

Василий Сергеевич Молоков, дядя Вася, как мы его называли, значится в списке Героев четвертым. Самый старший из всех семерых, он учил в свое время летному мастерству и Сигизмунда Леваневского и Ивана Доронина. А сам почти всю свою летную жизнь провел то в далекой Сибири, то на Крайнем Севере, где летал и над Енисеем, и над Леной, и над льдами Карского моря.

Больше всех челюскинцев вывез дядя Вася на своем Р-5 из ледового лагеря Шмидта: тридцать девять человек. А через несколько лет после челюскинской эпопеи опять полетел на Север: вместе со Шмидтом, с папанинкой четверкой — на полюс...

Пятому Герою, Николаю Каманину, едва исполнилось двадцать четыре года. Сын сапожника и ткачихи, комсомолец и член Коммунистической партии, военный летчик, он держал во время ледовой одиссеи свой первый и, быть может, наиболее трудный экзамен на человеческую зрелость и воздушное мастерство...

Михаил Водопьянов, шестой, служил в авиации давно: сначала бортмехаником, потом летчиком. Еще в 1930 году он совершил замечательный перелет на одномоторном самолете из Москвы в Иркутск всего лишь за сорок один летный час, что по тому времени являлось мировым рекордом. А два года спустя отправился в новый гигантский полет, по маршруту Москва — Петропавловск-Камчатский — Москва, но закончить его не сумел, потерпел аварию в районе озера Байкал. Однако и эта авария и тяжелые ранения не остановили Во-

допьянова, когда пришлось мчаться за тысячи километров, на Чукотку, на помощь нам.

И последний, седьмой: Иван Васильевич Доронин — Голова, как называли его друзья, добродушнейший и спокойнейший человек. За спокойствием этим, за добродушием скрывались огромный летный опыт, первоклассное мастерство, накопленное за годы полетов на трассах Иркутска, Якутска, Бодайбо, Колымы. «Голова дана человеку, чтобы думать и не терять ее», — любил говорить Иван Васильевич, и сам никогда не терял голову. Снес шасси при посадке во время перелета на Чукотку — запасное шасси «нашлось» у него же в машине... Подломал металлическую станину шасси, когда садился на нашем аэродроме — ребята-машинисты помогли приспособить вместо сломавшейся детали один из двух наших ломов — и ничего, взял двоих пассажиров, поднялся в воздух... При взлете оторвалась и бесполезно повисла лыжа — тоже ничего, в Ванкареме благополучно посадил машину на единственную уцелевшую, и все обошлось нормально...

— Голова для того и дана, чтобы ее не терять, — добродушно посмеивался Иван Васильевич в кают-компании «Смоленска», вместе с нами вспоминая все эти «пустяки» и «мелочи».

А «Смоленск» продолжал путь на юг, к берегам родной советской земли.

Короткая стоянка в Петропавловске-Камчатском...

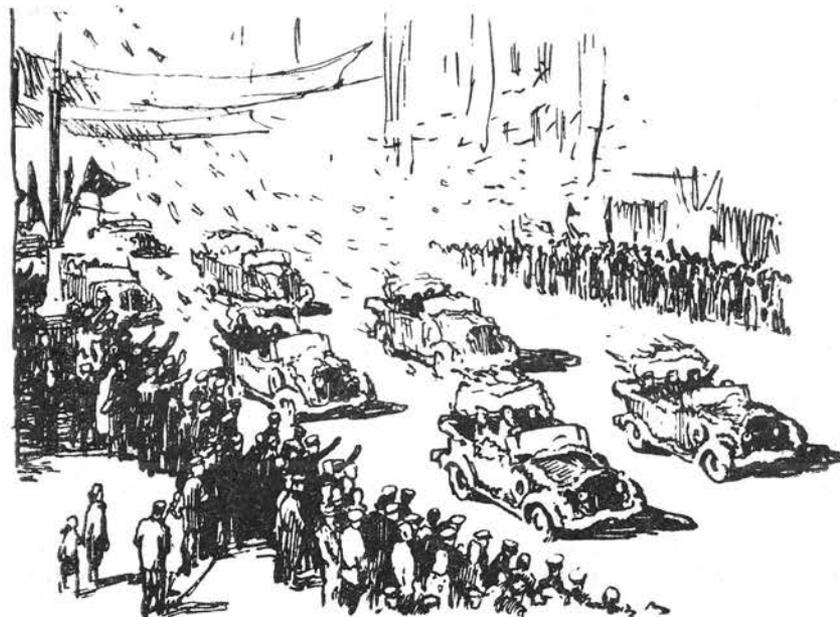
Жемчужина Тихого океана — Владивосток...

Специальный «челюскинский» «голубой экспресс»...

Дни и ночи — неделю — мчал он нас через всю страну, от тихоокеанских берегов до Москвы. И на каждой станции, на самых маленьких полустанках, мелькавших мимо окон, поезд встречали тысячи тысяч тех, кто послал челюскинцев на штурм Арктики и кто мужеством, волей и стойкостью своих сыновьев-Героев вырвал нас из преддверия ледяной могилы: встречали советские люди.

Здесь, в экспрессе, состоялось последнее заседание бюро партийной ячейки челюскинского экипажа, в которую на время влились и коммунисты, участвовавшие в спасательных операциях. На бюро обсуждался один вопрос: прием в партию.

Было не просто жарко, а невероятно душно в раскаленном летним солнцем вагоне. После почти целого года, прове-



денного в высоких арктических широтах, эта жара и духота делали тело ватным, бессильным, от боли раскальвалась голова. Но ни один из нас, ожидавших в узком вагонном проходе перед закрытой дверью купе, даже в тамбур не решился выйти, чтобы глотнуть свежего воздуха: каждого могли вызвать в любую минуту.

А собрались восемнадцать человек. И восемнадцать человек, напрасно стараясь скрыть волнение, с трепетом ждали решения своей судьбы: трое Героев Советского Союза: Анатолий Ляпидевский, Сигизмунд Леваневский, Михаил Водопьянов; трое научных работников экспедиции: геодезист Вася Васильев, физик Ибрагим Факидов, гидробиолог Петр Ширшов; пятеро членов команды «Челюскина»: старший радист Эрнест Кренкель, второй помощник капитана Михаил Марков, старший машинист Василий Бармин, матрос Григо-

рий Дурасов и боцман Анатолий Загорский; двое строителей-плотников: Кулин и Скворцов; летчик-наблюдатель из спасательной группы Петров; и, наконец, четверо самых близких друзей-комсомольцев: Саша Погосов, Федя Решетников, Степа Фетин и я.

Из купе мы вышли уже не комсомольцами, а кандидатами в члены ВКП(б). И казалось нам в тот жаркий солнечный день, не было во всем «голубом экспрессе» ребят счастливее, чем наша самая счастливая на свете комсомольская четверка...

А экспресс продолжал мчаться дальше: тысячи встречающих на каждой станции, победные марши оркестров, взволнованные митинги, горячие объятия, цветы, цветы, цветы...

И вот — Москва!

Лента улицы Горького от Белорусского вокзала до Красной площади — в многоцветье лозунгов, транспарантов, живых цветов и снегопада приветственных листовок... Увитые гирляндами автомобили, мчащие пассажиров «голубого экспресса» по бесконечному коридору встречающих москвичей... Мавзолей Ленина, и у стен его — Алексей Максимович Горький, со слезами обнимающий юную маму Дору Васильеву с крошечной Каринкой на руках...

И безмерный, как море, поток москвичей, час за часом проходящих перед величественным Мавзолеем, как перед глазами вечно бессмертного Ильича...

И наша клятва у Мавзолея: священная клятва на беззаветную, до конца, верность великому делу родного народа!

## Тридцать лет спустя

Много лет, тридцать с лишним нелегких, но пламенных лет пронеслось с той далекой уже поры.

Вспоминаю сегодня минувшее, и перед глазами — то свирепые волны штормового моря Лаптевых, то тяжелые льды Чукотского моря, то пурговые дни и ночи ледового лагеря Шмидта.

Там, где шли мы нехоженными, неизведанными путями, сегодня могучий атомоход с великим именем на борту ведет караваны транспортных кораблей из конца в конец по всему Великому Северному морскому пути.

Там, где мы грудь с грудью сходились в битвах с чудовищными ледовыми сжатиями, теперь год за годом живут и работают молодые, как мы в ту пору, энтузиасты дрейфующих полярных станций «СП», задуманных Отто Юльевичем еще на нашей челюскинской льдине.

Там, где семь самых первых Героев Советского Союза пробивали пургу и туманы, спеша к нам на помощь, их крылатая молодая смена давно проложила облетанные и надежные воздушные пути по всему необъятному Заполярью.

Нет больше безжизненного ледяного безмолвия вечных арктических льдов. Нет безлюдья заполярных островов. Есть морские, воздушные, речные порты на Печоре и Лене, на Енисее и Колыме; есть печорская нефть и таймырский уголь, якутские алмазы и чукотское золото.

А все это — жизнь!

Эстафету челюскинцев приняло и с победой понесло к Южному полюсу Земли молодое поколение советских полярников, осваивающих антарктический континент.

Эстафету Героев-летчиков подхватили и вознесли над планетой Герои — советские космонавты.

Тридцать лет...

Многих уже нет среди нас, не стало за эти годы. Светлую память о них мы будем хранить до конца своих дней.

Нет ледового комиссара, без остатка посвятившего себя развитию отечественной науки. Многолетний, давнишний недуг — туберкулез подточил здоровье Отто Юльевича. Но и в самые тяжелые дни болезни он оставался все тем же Шмидтом, каким знали и любили мы его на корабле и на дрейфующих льдах. Может быть, смерти вновь пришлось бы отступить перед волей и жизнелюбием этого несгибаемого человека, если б Отто Юльевич не отдал спасительное лекарство совсем незнакомой девушке. Он отдал, спас ее. А сам ушел. Это было в Ялте...

Нет ледового капитана, который, казалось, мог бы поднять на своих могучих плечах всю Арктику! Уже после челюскинской эпопеи он ходил вместе с Отто Юльевичем на помощь героической папанинской четверке, в дни Великой Отечественной войны проводил сквозь льды караваны боевых и транспортных кораблей, а в первые послевоенные годы самым первым повел китобойную флотилию «Слава» в далекие антарктические моря. И еще был поход. Последний. Как

всегда, очень трудный: капитану Воронину поручили вывести из льдов караван судов, захваченный преждевременно наступившей зимой. Владимир Иванович сумел их выручить. Вывел, привел на Диксон. И, расставив на якоря, упал мертвым на мостике своего ледокола...

Очень многих не стало в военные годы. Командуя кораблями, погибли на Севере в неравном бою с врагом бывший старший помощник капитана Сергей Васильевич Гудин и дублер старпома Василий Васильевич Павлов. Не вернулся из боевого похода черноморец-подводник Миша Данилкин. В партизанских боях пали боцман Толя Загорский и механик Миша Филиппов. На Дальнем Востоке не стало Миши Ткача. В Мурманске — Вани Неестерова.

Нет и Степы Фетина. И Васи Гордеева. И Жени Прокоповича.

Умер Георгий Алексеевич Ушаков.

Мы, живущие ныне, встречаемся дважды в году, как встречал наш ледовый комиссар: в черный день гибели «Челюскина» и в счастливый апрельский день, когда последние челюскинцы покинули лагерь Шмидта.

На волнующие, братские эти встречи собираются все, кто может. Собираются москвичи: генерал Ляпидевский, воспитатель космонавтов Каманин, народный художник Решетников, полярный летчик Погосов, кинооператор Шафран, писатель Водопьянов, журналист Громов, инженер Ремов, ученые Сушкина, Комова, радист Кренкель. Иногда приезжают ленинградцы: доктор наук Гаккель, мама Дора Васильева и мама Карина, ставшая инженером-химиком, инженер-кораблестроитель Паршинский и воздушный штурман Синцов. Из других городов спешат на встречу в столицу полковник Советской Армии Дурасов и моряк торгового флота Баранов, летчик Громов и автор этих строк.

Мы торжественною минутою молчания свято чтим память тех, кого уже нет, но кто вечно живет в наших сердцах.

Поднимаем бокал за живущих ныне, за партию, воспитавшую нас, за могучий, великий и славный советский народ.

Мы и сегодня на вахте. Как Шмидт, как Воронин, как все советские люди: до последнего дыхания своего, до конца.

И когда уходит один из нас, он сдает эту вахту только вам, молодым, у кого впереди вся беспредельная ширь океана, имя которому — Жизнь.

## СОДЕРЖАНИЕ

Дороги юности . . . . .	9
«Красин» спешит на выручку . . . . .	33
К желанной цели . . . . .	54
Слушай, Москва: прошли! . . . . .	75
В западнe . . . . .	96
Ожидание . . . . .	107
Все на лед! . . . . .	128
Наперекор всему . . . . .	154
Ледовая одиссея . . . . .	182
В объятиях Родины . . . . .	216
Тридцать лет спустя . . . . .	228

*Миронов Александр Евгеньевич*

ЛЕДОВАЯ ОДИССЕЯ, документальная повесть. М.,  
«Молодая гвардия», 1966.  
232 с., с илл.

P2

Редактор *В. Болтронюк*  
Рисунки *П. Павлинова*  
Обложка *В. Вострикова*  
Худож. редактор *Ю. Хамов*  
Техн. редактор *Л. Никитина*

A13614. Подп. к печ. 6/V 1966 г. Бум. 60×84<sup>1</sup>/<sub>16</sub>.  
Печ. л. 14,5(13,48). Уч.-изд. л. 12,8. Тираж 65 000 экз.  
Заказ 2810. Цена 54 коп. Т. П. 1966 г., № 17.

Типография «Красное знамя» изд-ва «Молодая  
гвардия». Москва, А-30, Суцевская, 21.